

## ПОЛЕМИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ

### КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

#### КРАСОТЫ, СОБРАННЫЕ ИЗ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса.

Илиада. Перевод Гнедича.

Песня I, ст. 1

### I

«Современник» распался на партии, не согласные между собою почти что ни в чем. Наши собратья по литературе давно намекали об этом, уличая одну статью нашего журнала в противоречии с другою. Недоставало только собственного признания. Явилось и оно. Безымянный автор<sup>1</sup> статей, занявшийся с нынешнего года отделом «Внутреннего обозрения» в нашем журнале, публично объявил, что ему нет никакого дела до мнений других сотрудников «Современника», что они пусть противоречат ему, сколько хотят, в своих статьях, а он, не стесняясь, станет противоречить им в своих. Факт прискорбный, но должны мы сознаться, естественный в журнале, не стыдящемся являться в одной обертке с «Свистком». (Кстати, мы имеем надежду, что «Свисток» скоро возвратится к «Современнику» из заграничной отлучки: нигде не нашел он климата лучше петербургского, тишины и довольства отраднейших, чем в любезном отечестве, и спешит он снова наслаждаться сладким и приятным дымом его.)<sup>2</sup> Да, говорим мы, как ни прискорбно это признание, но воротить его нельзя. Всем теперь известно, что между сотрудниками «Современника» нет никакого согласия в образе мыслей. Мы можем только негодовать на сотоварища нашего по журналу, столь неосторожно разоблачившего наши домашние слабости (это негодование и выразилось язвительным эпитетом «безымянный»). Но если уж признание сделано, то и будем поступать сообразно тому. Пусть каждый из нас пишет, нимало не справляясь с тем, одобритесь ли его взгляд и тон другими сотрудниками и редакциею.

Эта решимость, овладевшая мною, одним из сотрудников «Современника», и открыла мне возможность заняться подбором полемических красот из многочисленных статей и статей, глубоко-мысленных изобличений и милых выходов, печатающихся против «Современника». До сих пор никак нельзя мне было этим заняться по самой простой причине: я не читал, кроме «Современника» (да и то в корректурах), решительно никаких русских журналов вот уже более четырех лет. Почему не читал? Между прочим, вот почему: у меня чрезвычайно нетвердый ум (как и было доказано много раз в разных журналах в то время, когда еще я читал их; доказывается и теперь, как вижу по журналам нынешнего года; отсюда по аналогии заключаю, что доказывалось и в длинный промежуток, когда я не читал журналов). При такой шаткости ума, как только что я прочитаю, с тем и соглашаюсь. А сверх всех других недостатков ума и характера, одарен я еще болтливостью: решительно ни о чем не могу смолчать. Представьте же, какое было бы мое положение, если б я совершенно не бросил лет пять тому назад читать все журналы, кроме «Современника». Встречается мне в «Русском вестнике» или «Отечественных записках», «Московских ведомостях» или «С.-Петербургских ведомостях» какая-нибудь статья против «Современника». Прочел я ее и, по шаткости своего ума, соглашаюсь, что она вполне справедлива. Сажусь к рабочему столу — так и тянет меня написать: «в таком-то номере такого-то журнала или газеты прочли мы статью, уличающую наш журнал за то-то и за то-то в невежественности или легкомыслии, в злонамеренности или безвкусице. Мы находим это обвинение совершенно справедливым, и «Современник» кругом виноват». Но как я мог напечатать это? Ведь я считал нужным, чтобы журнал сохранял единство направления; а я противоречил бы ему на каждом шагу. Согласитесь, неприятно возбуждаться к мыслям, которые не можешь высказывать. Так я и бросил читать журналы.

Теперь дело другое. Даровитый писатель, взявший в нынешнем году на себя отдел «Внутреннего обозрения» в «Современнике», вывел меня из затруднения, погружавшего меня столь долго в такое прискорбное незнание о деяниях русской журналистики, ее успехах в сильном и прямом обсуждении важнейших вопросов общественной и государственной жизни нашего отечества и в прочем всем остальном. (Замечаете шаткость моя уже и выказалась: я уязвил сотоварища эпитетом «безыменный», а вот и льщу ему эпитетом «даровитый».) Теперь я не связан никакими соображениями о соблюдении единства в направлении и тоне журнала. Когда мне покажется, что другие бранят «Современник» справедливо, умно, остроумно, мило (а мне решительно каждый раз будет это казаться), я могу в «Современнике» же и печатать, что вот как хорошо и дельно изобличен «Современник» таким-то журналом, такою-то газетою. Недели две тому назад я

дошел до этого решения и, — о восторг наслаждения, которого лишил себя столь много лет! — я принялся читать русские журналы.

Я пропустил без чтения журналы эти за столько лет, что не мог и помыслить о прочтении или хотя бы легком пересмотре всей неведомой мне массы их за эти годы. Надобно было определить какую-нибудь достижимую человеческим силам границу возвращения моего назад к сокровищам прошлой нашей журналистики. Я поставил себе эту границу 1 января настоящего года. Только при крайней надобности, когда попадется в этом моем чтении разве уж очень интересная ссылка на какую-нибудь статью прежних годов, я доставляю себе роскошное наслаждение прочесть эту драгоценность.

Уже и за один нынешний год какую груду приходится мне пересматривать! Ведь мое решение было принято 7 июня (день принопамятный для меня, — день моего возвращения в сладчайшую жизнь читателя русских журналов!) — я пропустил более пяти месяцев, и сколько прекраснейшего чтения приготовила для меня русская журналистика в эти пять месяцев!

Как голодный, прямо бросающийся на самое сытное блюдо, я начал свое чтение, разумеется, с «Русского вестника», лучшего из наших журналов. Общая молва о его достоинствах не обманула меня. Много, много замечательного нашел я в нем, — например в 1-м же номере превосходную, утыканную шпильками статью г. Леонтьева «О судьбе земледельческих классов в древнем Риме» и восхитительную по своей невинной наивности статью г. Сухомлинова «Ломоносов — студент Марбургского университета», а в «Современной летописи» — несравненные статьи г. Ржевского, равно замечательного ученостью, скромностью и глубокомыслием. Но более всего заняли меня полемические статьи (по шаткости ума и слабости характера, при первом соприкосновении с полемикою пробудилась во мне страстишка к полемике, спавшая непробудным сном несколько лет). По естественной слабости к журналу, в котором участвуешь, разумеется, больше всего заинтересовался я полемикою против «Современника», и она так очаровала меня, что на этот раз не могу я говорить ни о чем, кроме нее. Как изменила она мой взгляд на многое в «Современнике», сколько недостатков его раскрыла, сколько промахов разоблачила! Они так грубы, неприличны, что прежде всего я должен назвать совершенно заслуженным со стороны «Современника» тон этой полемики. Вот образцы его. Первым образцом может служить первая полемическая статья нынешнего года: «Несколько слов вместо «Современной летописи». Она так хороша, что мы представим довольно большие извлечения из нее. Статья начинается тем, что с нынешнего года открывается в «Русском вестнике» постоянный отдел «Литературное обозрение и заметки». В других журналах соответствующий тому отдел давно существует, но ведется совсем не так, как следует.

Читатели, вероятно, еще помнят, как лет пять или шесть тому назад, ежегодно перед открытием подписки возгоралась литературная брань между журналами: *Современник* доказывал, что *Отечественные записки* никуда не годятся; *Отечественные записки* с неменьшей убедительностью доказывали то же самое о *Современнике*. В первый год существования *Русского вестника* мы указывали на эту черту наших литературных нравов, на этот процветающий тогда в журналах обычай под видом литературных обзоров вызывать к себе публику. Обычай этот тогда же прекратился, но не надолго: натура взяла свое. Брань возвратилась, только уже не литературная: сброшенную маску литературных объяснений поднять было совестно, и раздались объяснения более откровенные \*, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов.

Это я называю скромностью: до «Русского вестника», журналы держали себя неприлично; явился «Русский вестник», указал им, что это дурно, и неприличный «обычай тогда же прекратился». Со стороны других журналов похвально такое послушание справедливым внушениям «Русского вестника»: если сами они дурны, хорошо уже хоть то, что слушаются указаний от лучшего журнала. Но, — но очень они уже дурны: и желали исправиться, да не могут: «обычай прекратился, но не надолго, натура взяла свое: брань возвратилась». Какая дурная натура! Самая площадная натура! Нравится мне едкость выражения: «открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов». Чтобы не оставить читателя в недоразумении, сделана при этих словах и выноска, указывающая на № 1-й «Современника» за нынешний год. Острота — очень хорошая; ее приятности не мешает даже то, что она повторена из статьи «Московских ведомостей» и со слов почтенного нашего публициста г. Погодина, достойно завершившего свою громкую славу недавними статьями по крестьянскому вопросу<sup>3</sup>. Так вот, критический отдел в других журналах неприличен; конечно, в «Русском вестнике» он будет несравненно приличнее. Но, к счастью, мы видим, что это не мешает ему употреблять, как и следует, сильные выражения против журналов и писателей дрянного сорта. Вот, например, выдержки со следующей страницы.

Мы не будем заниматься искусством для искусства, как занимаются им именно те из наших литературных критиков, которые со свирепым бессмыслием протестуют против искусства для искусства. Только праздные и больные умы занимаются сами собой; только хилое искусство превращается в эстетические курсы; только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература роется в собственных дрязгах, не видя перед собою божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями. Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедывалась теория,

---

\* В «Современнике» опечатка: «обыкновенные». — *Ред.*

лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя; где современные писатели, отличающиеся каким-либо художественным достоинством, потому только осыпались льстивыми похвалами, что успех их в публике был выгоден для этих журналов, помещавших у себя их произведения, но где немедленно изменялся тон отзывов с прекращением расчета на сотрудничество.

Какая благопристойность тона, не лишенного, однакож, резкой силы: «балаганы», «свистуны», «свирепое бессмыслие», «мальчишеское забиячество», упрек за «забрасывание грязью всех литературных авторитетов», наконец, что лучше всего, указание на «льстивые похвалы» писателям, успех которых выгоден для журнала, пока эти писатели помещают в нем свои произведения, и прибавка, что «тон отзывов немедленно изменялся с прекращением расчета на сотрудничество». Чтобы читатель не оставался в недоразумении, к этим же словам сделана и выноска следующего содержания:

Так изменился тон *Современника* о некоторых писателях, в честь которых еще так недавно пламенели жертвенники в этом журнале. В последнем номере его напечатано между прочим элегическое стихотворение, в котором изливаются скорбные сетования на дороговизну произведений г. Тургенева.

Я никак не нахожу, что этот оборот изложения имеет некоторое сходство с «домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями». Я прочел, что «Русский вестник» порицает их, и знаю, что он никогда до них не унижится. Выписанные мною слова я называю просто благородным изобличением низости «Современника». Как я благодарен «Русскому вестнику», что раскрылись у меня теперь глаза на эту низость: Прежде дело представлялось мне в ином виде. Послушайте, как грубо я ошибался.

Мне казалось, что было время, когда не замечали между собой разницы во взглядах люди, далеко разошедшиеся ныне. Было время, когда г. Катков писал в «Отечественных записках» вместе с автором «Писем об изучении природы»\*. Некоторые статьи г. Каткова приписывались Белинскому (мы не полагаем, чтобы сказали этим что-нибудь оскорбительное для г. Каткова). Теперь на сколько партий разделились эти люди, составившие некогда одну партию, в которой рядом стояли г. Катков и покойный К. Аксаков? Отчего же разошлись эти люди? Отчего многие из них стали даже враждебны друг другу по образу мыслей? Нам казалось, что низкими расчетами не следует объяснять ни этого прежнего союза, ни этого последующего разрыва. Нам казалось, что как ни жалко состояние нашей литературы, но все-таки управляли в ней симпатиями и антипатиями силы более широкие и более благородные, чем денежный расчет. Нам казалось, что разви-

\* То есть с А. И. Герценом. — *Ред.*

валась национальная мысль, определеннее становились убеждения, и от этого оказывалась надобность разойтись людям, стоявшим рука об руку, поселялось несогласие в понятиях, а вслед за ним возникала и борьба между людьми, думавшими и действовавшими заодно, когда вопросов было не так много, вопросы были поставлены не так определенно, и ответы на них не могли быть так разнородны, как сделались при дальнейшем развитии общественной жизни. Эти разлуки бывали иногда тяжелы для сердца расстающихся, — по крайней мере, для некоторых из них. Сошлемся на опыт каждого, кто действовал в литературе благородно: кому из них не случалось несколько раз говорить себе то о том, то о другом, близком прежде, соучастнике трудов и стремлений: «Мы перестаем понимать друг друга; мы стали чужды друг другу по убеждению, мы должны покинуть друг друга во имя чувств еще более чистых и дорогих нам, чем наши взаимные чувства». Тот, кто пишет эти строки, начал свою литературную деятельность позднее почтенного редактора «Русского вестника»; но и ему пришлось уже испытать не одну такую потерю. Он может сказать не шутя, что не совсем легко было ему убедиться несколько лет тому назад, что он и редакция «Русского вестника» по мнениям своим о некоторых слишком важных вопросах не могут сочувствовать друг другу<sup>4</sup>. Что мне был г. Катков? Я его тогда не знал в лицо, он меня также. Я никогда не рассчитывал быть его сотрудником; он, вероятно, еще меньше мог бы согласиться принять меня в свои сотрудники. Ничего подобного личным отношениям или интригам тут быть не могло. Но было время, когда мне приятно было думать: «а мы можем действовать заодно»; расчет ли денежного выигрыша был тут? И пришло потом время, когда мне тяжело было думать: «по вопросу, который теперь стоит впереди всего, мы не можем действовать заодно», — что же, в самом деле, денежную ли потерю я чувствовал так горько? И если я теперь думаю: «может прийти очередь других вопросов, в которых мы можем сойтись», — разве денежные выгоды или другие дрязги заставляют меня желать этого? Пусть судьей будет сам «Русский вестник».

Нет, я не умею писать. К чему этот искренний тон, этот порыв чувства, которое сильнее и выше всех журнальных дрязг? К чему этот неуместный пафос в статье, начатой с насмешливой мыслью и, правду сказать, с презрительной мыслью? И как теперь из этой сферы мыслей, хоть несколько достойных честного гражданина, перейти к журнальной полемике? Нет, лучше остановлюсь здесь; полемика пусть будет отложена до другого раза. А первый отрывок пусть и будет закончен надеждой на близость лучшего развития нашей литературной деятельности.

Но эта пора еще не наступила, и уже шевелится в моей голове мелкий вопрос о дрязгах: «что же подумает «Русский вестник», что же подумает публика? Вызов ли это на литературное примирение? не робость ли это? не подобострастие ли? Нет; в чем дру-

гом, а в литературной трусости едва ли самый «Русский вестник» заподозрит пишущего эти строки. В чем другом еще как случится, а в литературной полемике он не слишком боится за себя. И примирения по вопросам, о которых может она идти, он не ждет ни у «Русского вестника» с «Современником», ни у какого другого журнала с «Русским вестником» или «Современником». Да-с, после от нечего делать пошутим, посмеемся, изобличим, вознегодуем, «втопчем в грязь», «завизжим», а теперь — как-то случится разговориться так, что не то на уме.

Думал я подписывать эти статьи каким-нибудь задорно-шуточным псевдонимом; но, судя по нынешнему, не одно шутовство в них будет, и потому стану подписывать под ними свою фамилию.

*Н. Чернышевский.*

## II

А вот пришло и другое расположение духа.

Так как же, по низкому расчету льстил «Современник» г. Тургеневу, по низкому расчету теперь ругает его?

Мы полагаем, что сам г. Тургенев понимает дело иначе; очень может быть, что и «Русскому вестнику» можно иначе понять его.

Почему г. Чичерин с своими друзьями отделился от «Русского вестника»? В плате за статьи они не сошлись? Известно литературному кругу, что разрыв между ними произошел совсем не по этой причине. Сначала им казалось, что они сходятся в убеждениях; потом они увидели, что расходятся, — и разошлись.

Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого г. Тургенева.

Мы льстили ему! — Пусть укажут хотя одно слово лести, написанное хотя кем-нибудь из нынешних сотрудников «Современника». Ни «Русский вестник», ни кто не в состоянии указать этого. Или пусть укажут хотя одно такое слово, кем бы то ни было написанное в «Современнике» с той поры, когда русские журналы стали сколько-нибудь похожи на журналы (после нескольких лет ничтожества). Этого также нельзя указать. Да и такой ли человек г. Тургенев, чтобы не различить лести от искреннего тона и не оскорбиться лестью? Он не такого дурного тона и не такой неразборчивый человек. Льстить ему было бы невыгодно, если б и была охота льстить.

С другой стороны — когда это были оскорбления ему в «Современнике»? Любопытно было бы, если бы кто указал, где и в чем они были<sup>5</sup>.

Что же такое было? Изменился наш взгляд на положение, принадлежащее повестям г. Тургенева в русской литературе. Это так. Но кто скажет, что это положение не изменилось? Разве не изменилась сама русская литература? Что же, нам следовало бы теперь повторять то, что думали прежде, при другом положении литературы, и чего уже не могли думать теперь?

А что за оборот — придавать дурной вид шутке, которая носилась вовсе не к г. Тургеневу, а к журналисту, да и не к какому-нибудь журналисту в отдельности, а ко всем журналистам, — шутке, имевшей тот смысл, что теперь автор хороших повестей или статей берет за свой труд хорошие деньги, и нельзя журналисту держать его на антониевской пище, как делалось когда-то? Тут было не одно имя г. Тургенева; тут говорилось о нескольких писателях, которыми наиболее дорожат журналы, — говорилось о г. Гончарове, г. Костомарове. Что тут обидного?

Или г. Тургенев разошелся с «Современником» из-за того, что «Современник» не согласился заплатить ему за какую-нибудь повесть столько, сколько он хотел, или потому, что другой журнал дал дороже? Ведь этот намек вы делаете? А вы бы подумали, лестен ли, приятен ли такой намек — не для «Современника», а для самого г. Тургенева. И ведь вам, да и каждому журналисту, очень хорошо известно было, что намек этот совершенно лишен всякого основания. — Г. Тургенев помещает свои произведения там, где ему приятнее, а не там, где ему больше дают, — разве кто-нибудь торговался когда с г. Тургеневым? Сколько мы его знаем, мы не полагаем, чтобы это было кому-нибудь возможно, по характеру г. Тургенева. Он не из тех писателей, которые любят или с которыми нужно торговаться.

К чему ж была эта выходка? Разве к тому, чтобы замешать г. Тургенева в журнальные дрязги? «Русский вестник» однажды уж делал это. Но полезно ли повторять неловкость, которая и в первый раз не была хороша? <sup>6</sup>

Вот что значит гневная неразборчивость: хотели пощипать «мальчишек-свистунов», а по неловкости ущипнули г. Тургенева, человека, совершенно постороннего и ничем не заслужившего ваших, непреднамеренно задевших его шпилек.

### III

В № 1 «Русский вестник» так, лишь слегка пошалил (и как мило пошалил), а в февральской книжке он поместил капитальную статью против нас под названием «Старые боги и новые боги». Это заглавие обозначает, что мы, по врожденному нам подбострастию, не можем не валяться на коленях перед какими-нибудь кумирами, и потому, низвергая прежних, мы становим новых, которые чуть ли не хуже прежних, и провозглашаем сле-



пое склонение им. Что ж, оборот придуман очень ловкий — мы всегда рады отдавать справедливость «Русскому вестнику»; он вздумал повести дело так, чтобы явиться защитником прав человеческого разума на свободу против нас, поработавших разум новому суеверию взамен старых предрассудков. Только одно из условий остроумия не соблюдено: ведь нужно, чтобы выдумка имела вид правдоподобия, — без того она не будет остроумна, как бы ни была замысловата. А та часть публики, которая несогласна с нами, видя в нас множество недостатков, никак не думала находить, чтобы мы воздвигали кумиров. Оттого статья «Русского вестника» и выходит не больше, как забавна для той части публики, которая сочувствует нам, — неудачно выбран пункт обвинений. Мы воздвигаем кумиров! — сделайте одолжение, вините нас в этом почаше и побольше. Это хорошо.

Но посмотрим на статью, истинно радующую нас искусным выбором темы для обвинений. Начинается она порицанием за то, что мы говорим иногда уклончиво, стороной о разных предметах, о которых можно говорить прямо.

К чему лукаво подмигивать, коварно намекать, завертываться в аллегория, расточать иронию, сыпать побасенками, когда дело просто, и нет ни малейшей надобности прибегать ко всем этим военным хитростям?

Хорошо. А зачем вся статья, начинающаяся этим порицанием, написана именно тою самою манерою, которую порицает за ее ненужность? зачем вся она до того «завертывается» в разные уловки, что многие даже вообразили, будто ее надобно понимать в прямом, а не в ироническом смысле, будто «Русский вестник» в самом деле защищает против нас материализм? К чему же порицать других за то, что приходится делать и вам самим?

Далее следует очень милая «побасенка» об Иване Яковлевиче, сильно, впрочем, отзываящаяся подражанием статье «Современника» о книжке г. Прыжова. Зачем подражать тому, над кем смеешься? Или, может быть, это не подражание, а только ирония? <sup>7</sup>

Дело сводится к тому, что мы за наше бессмыслие сравниваемся с Иваном Яковлевичем, — очень мило и грациозно; только зачем же заимствовать свое остроумие у таких бессмысленных людей, как мы? А что мы бессмысленны, вот вам доказательство:

Женится ли Х.? — спрашивал кто-то у Ивана Яковлевича. «Без працы не бендзе кололацы», таков был ответ. *Кололацы* мудреное слово, но вопрошавший был, вероятно, удовлетворен им, не добираясь до смысла. *Кололацы* — слово без смысла! А прислушайтесь: эти *кололацы* встретятся вам так часто, что вы не поставите их в упрек бедному обитателю сумасшедшего дома.

*Кололацы! Кололацы!* А разве многое из того, что преподается и печатается, — не *кололацы*? Разве философские статьи, которые помещаются иногда в наших журналах, — не *кололацы*?

Дело не в том, что вы говорите или пишете, во что вы веруете или не веруете, что полагаете или что отрицаете; дело не в том, какие истины хотите

вы проповедывать, суровые или нежные; а в том, понимаете ли вы сами, что говорите, способны ли вы мыслить или способны только вязать слова, которые для людей немыслящих могут показаться очень эффектными, но которые в сущности не что иное как *кололацы* Ивана Яковлевича.

Мило, очень мило «Кололацы бедного обитателя сумасшедшего дома» — какая деликатная полемика! Далее следуют, все в применении к нам же: «желтый дом», «бессмысленный», «рабочество», «фанатическое поклонение идолам, которые созданы нашим невежеством», «осквернение мысли в ее источниках», «возмутительно», — это на одной 894 странице; — разочтите же, сколько таких красот на 12 страницах статьи. Это значит, что другие журналы не умеют держать себя прилично, а «Русский вестник» умеет.

После этого начинается разбор статьи г. Антоновича о «Философском словаре»<sup>8</sup>, — г. Антонович нимало не нуждается в том, чтобы его защищали другие, и, оставляя эту часть статьи на доброе сердце г. Антоновича, приведу отрывки из конца ее, обращенного ко мне.

Прочитав длинное назидание г. Антоновичу, «Русский вестник» рекомендует ему прочесть «одну статью, напечатанную в трудах Киевской Духовной Академии».

Статья эта под заглавием: *Из науки о человеческом духе* составляет довольно обширное сочинение. Автор ее — профессор Киевской академии, г. Юркевич. Сочинение это вызвано некоторыми статьями о философских предметах, появившимися в *Современнике*. Г. Юркевич разоблачает наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философию, и разоблачает так, что даже взыскательный г. Антонович может остаться доволен. Нет худа без добра; спасибо шарлатанству, по крайней мере, за то, что оно послужило поводом к появлению этого превосходного философского труда. Статья г. Юркевича — не простое отрицание или обличение, но исполнена положительного интереса, и редко случалось нам читать по-русски о философских предметах что-нибудь в такой степени зрелое. Впрочем, о статье г. Юркевича мы не хотим говорить мимоходом. В следующем номере *Русского вестника* мы представим обширные выдержки из этого трактата, который отличается всеми признаками зрелого, самостоятельного, вполне владеющего собою мышления.

Будем надеяться, что философские понятия господ, пишущих в *Современнике*, мало-помалу прояснятся, и что они найдут, наконец, возможность обходиться без шарлатанства. И теперь уж по некоторым частям заметен значительный прогресс. Г. Чернышевский, повидимому, главный вожь этой дружины, начинает уже говорить человеческим языком по предметам политической экономии. Il s'humanise, se monsieur \*. В последних номерах этого журнала мы с удовольствием прочли статьи за его подписью; в них уже нет тех бессмыслиц, которые выдавал он прежде за глубокую мудрость, почерпаемую со дна таинственного кладезя. Он судит здраво и согласно с началами политической экономии, так что ему нет теперь надобности отделять себя от тех экономистов, которых он, бывало, называл *увколобыми бедняками* \*\*. Таким является он теперь и сам в статьях, подписанных его именем<sup>9</sup>. Надобно отдать ему справедливость; он хорошо пользуется уроками и недаром проводит время в предварительной школе.

\* «Он становится более похожим на человека, этот господин». — *Ред.*

\*\* В «Русском вестнике» напечатано «бедняками». — *Ред.*

Но если прежняя дичь остерегается заглядывать в те статьи г. Чернышевского, которые подписаны его именем, то она еще отъезжает в других, им не подписанных. Там еще тоном шарлатанской иронии говорится о великих русских экономах \*, гг. Вернадском, Бунге, Ржевском, Безобразове, к которым причисляется г. де-Молинари, а наконец Каре (или, как у нас пишут, Кери) и Бастиа. Статейка, о которой мы сейчас упоминали, очень курьезная статейка; это рецензия недавно вышедшей книги Каре *Письма к президенту Соединенных Штатов*. В ней есть одно замечательное место. (Пересказывается из этой статьи отрывок о драме «Юдифь», заключающийся словами: «Исторический путь не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дубри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность».)

После этого очаровательного эпизода, в котором так и слышится скорбный вздох «Юдифи», осквернившей себя для спасения родины, рецензент снова обращается к тарифу и свободной торговле. Не могла бы эта прелестная поэзия ворваться сама собой в такой сухой и прозаический предмет, если б ее не призвало само сердце писавшего. Она могла сказать только из глубины души, она могла прорваться только неудержимой силой невольного откровения. Столько слез и нежности в этом рассказе, который явился неожиданным оазисом среди пустыни протекционных пошлин, где веет совсем иной дух, сухой и суровый!

Действительно, не есть ли и шарлатанство некоторого рода осквернение? Не великую ли жертву приносят те доблестные общественные деятели, которых неразумная чернь зовет шарлатанами? Но, о, новые «Юдифи»! поведайте нам, ради каких великих благ пятнаете вы свою непорочную чистоту, «какой другой не видывали люди»?

О, господа, не пятнайте себя понапрасну! Не приносите ненужных жертв! Не оправдывайте себя подвигом: никакого подвига не имеется. Вы и себя обольщаете, и обманываете других. Вы сами не знаете, вы сами не чувствуете, какая вы вредная задержка посреди этого общества с неустановившимися силами, с неокрепшею жизнью. Тем хуже, если вы люди способные. Со временем, может быть, вы откажетесь от шарлатанства; ваши понятия станут яснее (начинают же разясняться мало-помалу экономические понятия г. Чернышевского, а это добрый задаток); после вы хватитесь, но будет поздно. С презрением оглянетесь вы на свое прошедшее и, может быть, глубоко пожалеете о шутовской роли, которую вы играете теперь.

Эпизод о «Юдифи» действительно годился для того, чтобы посмеяться над ним; и применение его к моему «шарлатанству» сделано мило, — этот отрывок статейки, не шутя, очень игрив и ловок. От души смеюсь вместе с «Русским вестником» над тем, как я уподобляюсь Юдифи величием жертвы, приносимой мною для спасения родины. Это очень забавно вышло; тут насмешка вполне удалась «Русскому вестнику». Да и патетический тон эпизода о Юдифи действительно очень забавен своим не совсем удобным помещением в статейке о сухом предмете, тарифе и Кери. Это отличная насмешка. Да, ведь разумеется само собою, что эту статейку писал я, — «Русский вестник» на то и намекает. Он не ошибся. Но я боюсь, что ошибся «Русский вестник» в предположении, будто мои экономические мнения исправляются. Это я считаю за знак доброты ко мне, не больше; благодарю, но принять не могу. Дело объясняется иначе. До прошлого года я писал

\* В «Русском вестнике» напечатано — «экономистах» — *Ред.*

политико-экономические статьи об отдельных вопросах, наиболее интересовавших меня, — разумеется, это были вопросы, которые мне казались особенно плохо излагаемыми у писателей господствующей экономической школы. Потому в этих статьях не было почти ничего, кроме споров против господствующей теории, кроме изложения мыслей, не успевших попасть в нее по своей новости или отвергаемых ею за их направление. В начале прошлого года показалось мне полезно дать русской публике систематический трактат о экономической науке во всем ее объеме. Я стал переводить Милля и делать к нему дополнения. У самого Милля излагаются большею частью вопросы бесспорные; мои дополнения часто должны были относиться также к таким вопросам. Вот от чего разница впечатления, производимого моими прежними статьями и моим изданием Милля. Тогда я говорил: буду излагать лишь то, в чем я с вами не согласен; в переводе Милля имею целью изложить все, что надобно думать о предмете, — и то, в чем я не согласен, и то, в чем согласен с вами. Не делает чести проницательности «Русского вестника», что он не догадался об этой главной причине разницы в своем впечатлении. Сказать ли другие причины? Упомянуть о них мне самому довольно щекотливо, но я не поцеремонюсь, потому что не очень-то боюсь ничьих насмешек, когда знаю, что говорю правду. Вот еще объяснение тому, что «Русский вестник» стал находить статьи, подписанные моим именем, менее «дикими». Моя репутация увеличивается — говорю это, не прикидываясь скромным, потому что не слишком-то горжусь своей литературной деятельностью. — Почему же так? Сам «Русский вестник» говорит:

«Жалкая литература! Мы находимся в школьном положении. Мысль наша не имеет к себе уважения, и ей трудно уважать себя. Она прячется, роет норки; в ней развиваются все рабские свойства». («Русский вестник», март. Литерат. обзор., стр. 210.)

После этого объяснения нечего мне церемониться ни с собою, ни с другими. У многих это чувство смягчается некоторым самодовольством, не лишенным справедливости. Каково бы ни было их положение, но они в нем все-таки остаются честными людьми. Это их несколько утешает. Я, как литератор, так же честен; но меня это несколько не утешает, и мое чувство к литературе, в том числе и к моей доле в ней, имеет жесткость, ничем не смягченную. Кому угодно, тот может сделать это объяснение предметом насмешки: я сам знаю, что оно очень удобно может быть обращено в насмешку надо мной. Но смейтесь и бранитесь как хотите; а вы сами знаете, что я тут прав, и я знаю, что вы согласны со мной в очень значительной степени.

Так вот я мертв поэтому к похвале и к порицанию тому, что я пишу. Я сам судья, произнесший и себе в числе других приговор, который не поправишь и не испортишь ничем. И на то, как думает обо мне публика, я смотрю точно так же, как на толки о какой-ни-

будь m-lle Ригольбош<sup>10</sup>. Умна ли она, глупа ли она, хороша ли она, дурна ли она — все равно, она ведет такой образ жизни, что никакими комплиментами не исправишь мнения о ней.

Есть люди другого рода: они чувствуют робость перед известностью. Таков «Русский вестник». Прежде он осмеливался находить, что в моих статьях нет ничего, кроме дичи; теперь он робеет высказывать это. Только и всего. Удовлетворены ли вы этим объяснением, «Русский вестник»? Если нет, я пожалуй, объяснюсь пообстоятельней: себя я не слишком-то жалею, а других, — например, хоть вас, — разумеется, не больше, чем себя. Следовательно, объяснений со мной вам не выдержать, — не потому, чтоб я был умнее вас или владел пером искуснее вас, а потому, что у меня язык развязан хоть в этом отношении, а у вас и в нем он связан.

Но я не все сказал, сказав, что к своей литературной репутации я мертв. К себе, как к человеку, я не могу быть мертв. Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда будет она приносить обществу действительную пользу и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли во мне к тому времени способность служить обществу как следует? Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждений. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» \* писателей, то есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежее меня. Например, к г. Антоновичу. Что ж? разве я стану скрывать, что действительно завидую им, завидую с оттенком оскорбляемого их свежестью самолюбия, с досадою опережаемого?

Не угодно ли получить объяснение и относительно того, какую пользу моему исправлению принес «Русский вестник»? Извольте. И тут скажу правду. Я просматривал «Русский вестник» при начале его издания. Не припомню теперь хорошенько, до 17 или 18 № первого года издания. После того до конца первого года мне случилось прочесть еще две или три статьи в следующих книжках, потому что в тот год принесли «Русский вестник» из магазина в мою квартиру. На второй год я сказал, чтоб этого не делали. И с той поры до начала нынешнего месяца я формально не читал в «Русском вестнике» ничего, за исключением четырех вещей, которые все и перечислю. В редак-

---

\* Из всего этого можно будет «Русскому вестнику» извлечь очень смешливые замечания против меня: «г. Чернышевский думает, что его репутация увеличивается, — какое приятное самообольщение!», «г. Чернышевский из Юдифи обращается в m-lle Ригольбош» (развить параллель между ним и m-lle Ригольбош). «Он скорбит о том, что он уважаемый писатель — пусть он не горюет об этом, его никто не уважает», и т. д., и т. д. Все эти насмешки могут быть едки и забавны, если написаны будут умно и живо.

цию «Современника» была доставлена биография Радищева сд многими, по словам лица, ее передавшего, важными дополнениями против того, что было напечатано в «Русском вестнике». Случилось так, что заняться сличением некому было, кроме меня. Я взял книжку «Русского вестника» и сличил с нею рукопись. Оказалось, что прибавления неважны и печатать их не стоит. Летом прошлого года я прочел полемические статьи по поводу г-жи Свечиной, вздумав написать об этом казусе статейку за неимением другого материала для журнала. В одном из номеров «Русского вестника», где была эта стрельба по г-же Тур, напечатана статья т. Малиновского (если не ошибаюсь) о пороховых взрывах, кажется. Она как-то развернулась, и я прочел несколько страниц. Наконец, сидя однажды у постели больного, я прочел для него несколько страниц из повести г-жи Кохановской; заглавия повести не помню, а знаю только, что в ней рассказ ведется от лица женщины, часто вставляющей в свою историю отрывки из народных песен<sup>11</sup>.

Довольны вы, «Русский вестник», этим объяснением? Или, может быть, вам любопытно будет узнать, отчего я не читал вас? На первый раз скажу: от глубокого равнодушия. Если же угодно будет знать больше, я скажу и больше, — мне все равно.

А теперь вот я начал читать. — Скучные времена, глупые времена, — дай, думаю, поразвлекусь полемикою, на которую, как я слышу, напрашивается «Русский вестник». Вот и развлекаюсь. Плохое развлечение, а все же лучше, чем запить с тоски. Надоест — брошу, что бы вы там ни писали обо мне или о «Современнике». А пока еще не надоело, развлекаюсь, как видите.

#### IV

В № 3 «Русского вестника» литературное обозрение начинается статьей с очень заманчивым заглавием: «Наш язык и что такое свистуны». — По цитатам, приведенным из № 1, мы знали, что под этим именем «свистунов» «Русский вестник» разумеет сотрудников «Современника», и ждали, что вся статья будет посвящена ему. Нет, о «Современнике» и «Свистке» говорится в ней лишь мимоходом, а главное содержание статьи совсем не то: идет спор с «Основой» о том, способен ли малорусский язык к литературному развитию, потом спор с «Временем» об историко-литературных и эстетических вопросах, наконец подробная диссертация о г-же Толмачевой, доказывающая, что Камень-Виногородов был в сущности прав, а лишь неосторожно выразился<sup>12</sup>.

Такое непредвиденное разнообразие «свистунов» объясняется на стр. 20 словами: «все мы (то есть русские журналы и журна-

листы) более или менее свистуны». Вот как! Уж и самого себя «Русский вестник» не исключает из «свистунов» — за что же гнев на нас? Самое замечательное место в целой статье — следующее рассуждение о правах женщины и об эмансипации:

Права женщины! Но кто же отнимал у ней эти права, или каких еще прав ей надобно? В гражданском положении она, именно у нас, ничем не уступает мужчине, она не подлежит опеке и совершенно самостоятельна. В доме она хозяйка, в салоне она царица; в литературе, в искусстве, даже в науке ей везде есть место, был бы только талант и охота. Правда, у нас нет амазонских полков и женских департаментов. Но неужели женщина этого хочет? Неужели это ей нужно? Наконец, если между министрами не бывает дам, то нам известно, что пол женщины не лишает ее прав на верховную власть. У нас были знаменитые императрицы, на английском престоле восседает теперь королева, на испанском тоже. Каких же это прав еще ей нужно? В обществе она окружена почетом; века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине в образованном обществе. Тут личность женщины, не утратившей своего достоинства, есть нечто неприкосновенное и священное. Чего же может хотеть женщина? Неужели того, чтоб быть эмансипированною во всех тех отношениях, в каких считает себя эмансипированным мужчина? Но хорошо ли, что мужчина считает себя эмансипированным во всех отношениях? Приятно ли будет ей самой сравняться с ним во всех отношениях? А если приятно, так что ж мешает и женщине пользоваться теми же правами? Увы, как много женщин, которые ими пользовались и пользуются, не слыжав ни о какой эмансипации, и без помощи особых доктрин о своих правах! Для этого не нужно образования, не нужно развития умственного или нравственного, эта благодать достается сама собою, и лишь высшее нравственное развитие, вкореняя в душу чувство долга, спасает, как мужчину, так и женщину, от этой даровой и всем легко доступной эмансипации. Может быть, женщине недостает некоторых удобств эмансипации, которыми пользуется мужчина? Но стоит ли толковать о таких мелочах, тем более, что женщина может иметь своего рода удобства, каких не имеет мужчина? Как бы то ни было, однако, представим себе женщину, эмансипированную наравне с мужчиной. Пользуясь совершенно одинаковым с мужчиной положением, женщина тем самым отказывается от всех особенностей собственно женского положения. Она уже не должна хотеть и не может требовать от мужчины того особого уважения, той деликатности, на которые имеет право женщина, оставаясь в своем положении, высшем и привилегированном, которого никто у ней не оспаривает, которым, напротив, все дорожат, которое все охраняют, удаляя от женщины эмансипаторов с грязными руками.

Напрасно «Русский вестник» печатает такие вещи. Говорим ему это в предостережение. Какую роль тут он принимает на себя? Стремление женщины к эмансипации он смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это — обскурантизм. Если «Русский вестник» станет выказывать себя с такой стороны, ему придется плохо. Дальше, чтобы отвратить женщину от желания сравняться с мужчиной, «Русский вестник» выставляет, что она лишится через это особенных выгод своего нынешнего положения: мужчины уж не будут ей, как равной себе, оказывать «того особого уважения, той деликатности, на которые имеет она право, оставаясь в своем положении высшем и привилегированном», — о чем это вы говорите? О комплиментах, галантерейностях, о том, что женщина — царица общества, воз-

душное существо? о том, что ей привозят в подарок конфеты? Да ведь это «особое уважение, эта деликатность» необыкновенно пошлы; ими унижается женщина; ими тяготится каждая не то что эмансипированная, а каждая женщина, имеющая от природы ум и чувствующая свое человеческое достоинство. Ведь все [это] отзывается средневековым взглядом на женщину как на «даму сердца», то есть куклу, обязанную сидеть на балконе и раздавать шарфы победителям, а иногда и служить наградой победителю. Ведь этим женщина ставится в положение ребенка, на которого не смотрят серьезно, с которым только шалят по снисходительной любезности. Или вы думаете о другом? Может быть, вы думаете, что, признав женщину равной себе, отбросив приторные деликатесы в обращении с ней, мужчина станет толкать ее на улице? Но, вероятно, ведь и друг друга мужчины перестанут толкать на улицах. А лучше всего начало выписанного отрывка: «Права женщины! Но кто же отнимал эти права, или каких еще прав ей надобно?» И через несколько строк повторение: «каких же это прав еще ей нужно?» Потрудитесь прочесть помещенную в «Современнике» нынешнего года статью г. Филиппова «о гражданских законах»<sup>13</sup>, вот вы и увидите, каких прав недостает женщине даже по гражданским законам (не говоря уже о политических правах и экономических правах), тогда вы и не скажете, что «в гражданском положении женщина, именно у нас, ничем не уступает мужчине». Да, надобно еще упомянуть об одном: «Русский вестник» находит, что в оскорблении женщины «Современник» гораздо более виноват, чем кто-нибудь: г. Михайлов, говорит «Русский вестник», явился мстителем за честь женщины, когда Камень-Виногоров «сказал два грубые слова», —

А где он был, когда в том самом журнале, в котором он печатает свои эмансипационные статьи, предавалась самому ужасному поруганию тоже женщина, и притом женщина, которая приобрела себе имя в русской литературе? Мы говорим о тех критических статьях, которые несколько лет тому назад являлись в «Современнике» по поводу сочинений графини Ростопчиной. Далее поругание итти не может, если б и хотело. Перед этим поруганием ничто, совершенно ничто — камешки, брошенные г. Камнем-Виногоровым, — камешки, которые никуда бы не долетели и которых никто бы не заметил, если бы не гаркнула вся эта стая, спущенная г-м Михайловым. Пусть эти менады, растерзавшие Камня-Виногорова, припомнят те статьи<sup>14</sup>.

Вот видите ли что: была некоторая разница между нашими статьями о графине Ростопчиной и случаем, о котором вы рассуждаете. То, что говорила г-жа Толмачева, находят справедливым и благородным почти все просвещенные люди (за исключением вас, чего мы не ждали); а то, за что мы осуждали г-жу Ростопчину, заслуживало строжайшего осуждения по мнению самых крайних эмансипаторов: графиня Ростопчина писала вещи в духе «Фоблаза», прямо противоположном идеям эмансипато-



ров, которые освобождение женщины считают делом столь же мало похожим на разврат или ведущим к разврату, как освобождение крепостных крестьян (и вообще возвращение человеческих прав какому бы то ни было классу людей, лишенному человеческих прав). Не знать этого — стыдно, а притворяться не знающим — еще стыднее.

Что «Русский вестник» недаром причислил себя к свистунам, доказывается следующей статью, о книге Гильдебранда. По тону своему она явно усиливается быть сколком с наших библиографических статей, как и начало статьи «Старые боги и новые боги» явно навеяно статью «Современника» о житии Ивана Яковлевича: та же шутливость, те же приемы, та же манера не церемониться с иностранными знаменитостями — как это позволяет себе «Русский вестник» «топтать в грязь авторитеты»! И зачем бранить тех, кому подражаешь? Хотя бы ту предосторожность взяли, чтобы нашими любимыми выражениями не заимствоваться, придумать свои какие-нибудь, а то, например, для обозначения людей, пробавляющихся сведениями из вторых рук, употребляет «Русский вестник» выражение: «привыкшие почерпать свои данные из французских книжек» — ай, ай, ай! — откуда это выражение «французские книжки»? Это уж очень плохо, когда подражание доходит до заимствования слов<sup>15</sup>.

## V

В № 4 «Русского вестника» отдел литературного обозрения и заметок доходит до такого совершенства в наивности, что трудно будет даже при всей основательности «Русского вестника» удержаться этому отделу на подобной высоте.

Прежде всего отметим длинную статью почтенного нашего ученого г. Лонгинова в защиту юбилея князя Вяземского с обильными доказательствами, что князь Вяземский одарен высоким поэтическим талантом. Оно, должно быть, так; надобно только сказать, что предмет для апологии выбран очень удачно. Русская литература будет помнить покровительство, каким она пользовалась от князя Вяземского, когда он находился прямым ее начальником в звании товарища министра народного просвещения. Да, она будет помнить с надлежащей признательностью. Впрочем, и изложение мыслей у почтенного нашего библиографа также не дурно; образцом может служить хоть следующее невинное место: «бесперывные утраты милых людей, беспрестанные испытания освобождают его (князя Вяземского) вполне от тех обманов, которые тревожат и увлекают пламенную молодость». Это относится к 1846 году, а князь Вяземский родился в прошлом столетии, да и то еще не в самом конце столетия, так что ему в 1846 г. было или под 60 лет, или за 60 лет. Ну,

В эти годы можно освободиться от пламенной молодости и без всяких испытаний<sup>16</sup>. Тут приличнее бы вспомнить слова псаломщика: «дни лет наших...» и т. д. За апологию юбилея и панегириком поэтическому таланту кн. Вяземского следует статья о книжке, изданной под редакцию г. Лонгинова, не сына и не отца и не брата предыдущего Лонгинова, а того же самого. Дело идет о письмах Карамзина к Малиновскому<sup>17</sup>, и «Русский вестник» гневается за нашу непочтительность к Карамзину. Наивности и тут очень много. Примером пусть послужат хоть следующие строки: «Недавно кто-то, разбирая эти письма в «Современнике» (говорит «Русский вестник»), отозвался с большим презрением и о них, и о самом Карамзине». «Нас удивило (продолжает «Русский вестник» на той же странице), что рецензент, приводя разные отрывки из писем Карамзина, выбрал самые незначительные, могущие служить к оправданию любимой (рецензентом или «Современником») точки зрения». Вот удивительно-то в самом деле: приводит человек из книги такие места, которыми бы подтверждалось его мнение о ней! Спросим теперь редакцию «Русского вестника», как она по правде думает: можно ли вести «Литературное обозрение» с сотрудниками столь наивными? Мистер Тутс в «Домби и сын» Диккенса тоже очень любивший писать, был человек благороднейшей души, прекраснейшего трудолюбия; но мог ли он быть рецензентом?

Иметь ли и впредь сотрудниками в «Литературном обозрении» предыдущих мистеров Тутсов, это мы совершенно предоставляем усмотрению самого «Русского вестника», не выражая своего мнения о том. Но вот по поводу следующей статейки нельзя уж нам будет оставить «Русского вестника» без доброго совета.

Эта следующая статейка — «Два слова об Академии Наук» Я. Грота. Г-н Я. Грот — академик (по отделению русского языка и защищает академию, особенно отделение русского языка и словесности, это нас не удивляет. Но как он защищает это отделение! прелесть! Вот образчик. Те, которые нападают на отделение русского языка и словесности, не хотят (говорит г. Я. Грот) соображать разные обстоятельства в организации академии, от членов ее не зависящие:

Известно ли, например, публике, что II отделение, занимающееся русским языком и литературой, существует на совершенно других основаниях, нежели I — физико-математическое и III — историко-филологическое? В последних двух члены состоят на жалованье, и многие из них получают в зданиях Академии казенные квартиры. Члены отделения русского языка не имеют ни жалованья, ни квартир, и посвящают себя академическим трудам из чести. Они получают умеренную плату только за самую несущественную часть своей академической деятельности, то есть за присутствие в заседаниях, да в случае печатания трудов своих в изданиях отделения — имеют право на скудный гонорарий.

Вот наивность-то. Ученому содружеству говорят, что труды его из рук вон плохи; а член ученого содружества плачется перед публикою, что мало дают им награды за труды:

Подайте мальчику на хлеб, —  
Он Велизария питает.

Дайте, дайте нам по 1 500 руб. жалованья с казенною квартирою, — ведь мы русский народ питаем лексиконами, грамматиками и другими прекрасными трудами. Нет, тут наивность переступает уже пределы приличия. Каждый встречный по прочтении статейки г. Я. Грота удостоверит редакцию «Русского вестника», что мы даем ей чистосердечный, доброжелательный и совершенно верный совет, советуя ей отныне и во веки веков не печатать статей г. Я. Грота. Он, быть может, полезнейший член отделения русского языка и словесности; он, без всякого сомнения, — добродетельнейший человек (только добродетельные возвышаются до такой трогательной простоты душевной), — только, воля ваша, статьи его неприличны.

## VI

Но вот капитальнейшая статья полемиического отдела IV книжки «Русского вестника»: «Из науки о человеческом духе». П. Юркевича. «Труды Киевской Духовной Академии», 1860». В «Старых богах и новых богах» «Русский вестник» обещал напечатать обширное извлечение из образцовой статьи г. Юркевича, мыслителя глубокого, превосходного. Теперь он исполняет свое обещание. В IV книжке он поместил начало извлечения, а в V хочет представить конец. Извлечению предшествует предисловие от самого «Русского вестника»: я это предисловие прочел и тем удовольствовался. Дело для меня уже ясно из одного предисловия<sup>18</sup>.

Статья г. Юркевича написана, как оказывается, в опровержение моей статьи об антропологическом принципе. Это опровержение помещено в журнале, издаваемом Киевскою духовною академиею, а сам г. Юркевич — профессор этой академии.

Я сам — семинарист. Я знаю по опыту положение людей, воспитывающихся, как воспитывался г. Юркевич. Я видел людей, занимающих такое положение, как он. Потому смеяться над ним мне тяжело: это значило бы смеяться над невозможностью иметь в руках порядочные книги, над совершенною беспомощностью в деле своего развития, над положением, невообразимо стесненным во всех возможных отношениях.

Я не знаю, каких лет г. Юркевич; если он уже не молодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю.

О г. Юркевиче я кончил этим. Но «Русский вестник» — о нем я еще не кончил, потому что должен сказать ему, что он (конечно, непреднамеренно) поступил с г. Юркевичем нехорошо. Все мы, семинаристы, писали точно то же, что написал г. Юркевич. Если угодно, я могу доставить в редакцию «Русского вестника» так называемые на семинарском языке «задачи», то есть сочинения, маленькие диссертации, писанные мною, когда я учился в философском классе саратовской семинарии. Редакция может удостовериться, что в этих «задачах» написано то же самое, что должно быть написано в статье г. Юркевича, — да, я уверен, что в ней написано то же самое, хотя я еще не читал ее и не прочту ее, не прочту и всего извлечения, напечатанного в «Русском вестнике», а прочту в корректуре тот отрывок из извлечения, который отметил я для вставки в эту статью. Я вперед знаю все, что я прочту в нем, все до последнего слова, и очень многое помню наизусть. Известно, как пишутся эти вещи, что пишется в этих вещах, то есть известно это нам, семинаристам. Другие могут считать это новым, могут пожалуй, считать хорошим, — как им угодно. А мы знаем, что это такое.

Если положение г. Юркевича изменится, то очень скоро ему станет неприятно вспоминать о своей статье. Но если б она осталась только в «Трудах», она осталась бы неизвестна публике. «Русский вестник» своим извлечением компрометирует его перед публикой.

Мне хотелось бы не приводить отрывков из этого несчастного извлечения. Но я обязан перед «Русским вестником» сделать это: ведь ему кажется, что я опровергнул статью г. Юркевича; я не вправе скрывать от своих читателей эту статью, опровергнувшую меня, по уверению «Русского вестника».

Я не имею права перепечатывать больше, как третью часть статьи. Я вполне должен воспользоваться своим правом. Статья имеет 27 страниц. Я перепечатаваю из них 9, начиная с того места, где речь обращается от общих рассуждений прямо ко мне. Пришлось так, что последние строки последней страницы, до конца которой доходит мое право перепечатки, не заключают в себе полного периода, и в конце последней строки стоит только половина слова, другая половина которого переносится на следующую страницу. Что делать, братъ с следующей страницы я не имею уже права, а до конца этой страницы я обязан воспользоваться вполне своим правом, чтобы не лишить читателя ни одной буквы из той части победоносного опровержения моих мыслей, которую могу сообщить ему.

Где рубка, там летят щепки (говорит «Русский вестник»); где горячо и живо идет работа, там возникают и односторонности и ошибки, которые не мешают, однако, делу подвигаться вперед. В горячей работе часто некогда бывает осмотреться вокруг, подвергнуть должной критике свою мысль, и мы часто видим людей, заслуживающих полного уважения, дельных ученых и

испытателей, открывающих в своей науке новые горизонты, с смутными понятиями о собственном деле, с теориями, не выдерживающими никакой критики; но нелепости, в которые они впадают, поучительны и интересны. Эти нелепости — в то же время факты, образующиеся из известных условий и любопытные для психологического наблюдения. Фохту, Молешотту<sup>19</sup> позволительно до некоторой степени не отдавать себе должного отчета в собственной точке зрения; занятое делом, которое в их руках плодотворно и полезно, они не находят в своем уме ни времени, ни места анализировать свои понятия. Но весьма жаль видеть людей, которые были бы способны к чему-нибудь лучшему, но которые вчуже нахватывают отовсюду все, что только есть, одностороннего, фальшивого и нелепого, и в этом полагают всю мудрость, последнее слово знания и мысли. Кто не помнит из времен своей школьной жизни, с какою жадностью детские умы хватаются именно за то, в чем нет никакого смысла, но что пленяет их своею резкостью? Что естественно в детском возрасте, то жалко во зрелом; что у места в школе, то нелепо в литературе.

Сочинение г. Юркевича вызвано некоторыми статьями, появлявшимися в наших журналах по вопросам антропологическим. У нас нет ни психологии, ни физиологии, но есть литературные мечтания о том и о другом, точно так же, как у нас нет политической экономии, а есть литературные мечтания о наилучшем устройстве человеческого общества; точно так же, как у нас нет ни политических наук, ни политической жизни, но зато появляются корреспонденции о говорах, весьма похожие по своему грубому дилематизму на донесения наших старинных русаков, езжавших за границу с дипломатическими поручениями, хотя без их простодушной наивности, а взамен того с фанфаронством юного ума, ни в чем неповинного, но вообразившего себе, что он все испытал, все изведал, утомился под бременем знания и опыта и во всем видит суету суетствий.

Ближайшим поводом к труду г. Юркевича послужили статьи, напечатанные в № 4 и 5 «Современника» за 1860 год под заглавием *Антропологический принцип в философии*. Замечательный труд г. Юркевича, несмотря на свой полемический повод, представляет самостоятельный интерес, и полемический повод послужил автору только к тому, чтоб высказаться определеннее и явственнее. В своей полемике автор обнаруживает очень тонкий такт. Он не прибегает ни к каким посторонним топикам<sup>20</sup>; он не взводит никаких обвинений, он берет мысль и судит ее по законам мысли; разбирая теорию, он имеет в виду только определить, объясняет ли она то, что обещает объяснить. С благородною деликатностью он тщательно устраняет и предупреждает все, что могло бы быть истолковано к невыгоде разбираемых статей с каких-либо точек зрения, кроме чисто научных. «Статья: *Антропологический принцип в философии*, — говорит он, как бы обращаясь к своим слушателям в духовной академии, — относится к философии реализма, которая сделала в наше время так много открытий в области душевной жизни, подарила нас такими точными анализами явлений человеческого духа, что, по всей вероятности, это направление рано или поздно должно представить большие интересы для самого богословия. Мы уверены, что науки богословские особенно нуждаются в точных психологических наблюдениях и верных теориях душевной жизни. В этом отношении, повторяем, современный философский реализм есть явление, мимо которого богослов не может проходить равнодушно: он должен изучать эту философию опыта, если он хочет успеха своему собственному делу».

Но, разбирая упомянутые статьи с точки зрения логики и науки, г. Юркевич изобличает всю фальшь, заключающуюся в основе этих фраз, повторяемых с чужого голоса; полемический тон его возвышается по мере изложения дела и переходит к концу в беспощадный, но вполне мотивированный приговор.

Такого рода труды, как г. Юркевича, большая редкость в нашей литературе. Статья эта неизвестна публике, потому что напечатана в издании, почти не обращающемся в ней. А потому мы думаем оказать услугу нашим читателям, если представим сколь можно более обширные выписки из этого труда.

Сначала мы ограничимся лишь первым отделом его, где речь идет о том вопросе, которого вкратце коснулись мы в наших вступительных строках: и чтобы не утомлять читателей, не привыкших к развитию подобных вопросов, мы отложим выдержки из другой его половины до следующей книжки нашего журнала.

Сказав несколько вступительных слов и объяснив повод своего труда, г. Юркевич продолжает:

«Психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта. Ощущения или представления, чувствования и стремления суть такой материал, которого вы нигде не отыщете во внешнем опыте и, следовательно, ни в какой области естествознания. Правда, что психология не может решить своей задачи без пособия физиологии и даже механической физики, потому что условия для определенных изменений душевных явлений лежат прежде всего в изменениях живого тела: в этом отношении она пользуется результатами физиологии, сравнивает явления физиологические с душевными и определяет таким образом их взаимную зависимость. Если это означает, что она получает свой материал из области физиологии, то справедливо сказать, что и физиология получает свой материал из психологии в таком же смысле: эти две науки взаимно влияют одна на другую, и успехи в одной из них поведут к успехам в другой. Тем не менее каждая из них имеет свой собственный материал и увеличивает этот материал из области только ей доступной. Предмет психологии дан во внутреннем самовозрении, естественные науки не могут дать ей этого предмета, не могут увеличивать этого материала. Так, например, оптика, развитая математически, изъясняет только положение рисунка в нашем глазе и различные направления глазных осей во время видения; но она ничего не знает об этом видении, для нее глаз есть зеркало, отражающее предметы, а не орган видения. Только психолог, наблюдающий внутренне, может сказать, что в то время, как оптик замечает на теле глаза изображения определенной величины и видит, что самое тело глаза получило определенное направление, душа представляет такой-то предмет, в таком-то цвете, на таком-то расстоянии и т. д. Так же точно для акустики, которая развита математически, ухо есть только телесный снаряд, приходящий в правильные сотрясения, когда ударяют на него волны воздуха; но что душа слышит по поводу сотрясения этого снаряда, бой барабана или музыкальную мелодию, об этом акустика ничего не знает. Это ясное и понятное разделение между предметами, известными из опыта внутреннего, и предметами, известными из опыта внешнего, совершенно выпущено из виду сочинителем разбираемых нами статей, и вот почему он говорит так безусловно о материалах, которые представляют естественные науки для решения вопросов нравственных. «Физиология, — говорит сочинитель, — разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение».

Кто никогда не был в анатомическом театре, тот на основании этих слов может вообразить, что там профессор анатомии показывает простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительных органов, кишек, нервов и систему ощущений, следовательно, систему представлений и мыслей, страданий и радостей, мечтаний и надежд. В приведенных словах сочинитель, кажется, ясно говорит, что ощущение есть предмет, так же данный для внешнего физиологического опыта, как сжатие и растяжение мускулов, движение крови, химическая переработка пищи в желудке и т. д.

Таким образом, он разделяет основное заблуждение или обольщение тех физиологов, которые в последнее время думали заменить физиологией так называемую прежде психологию. Теперь мы видим, почему он признает за нравственными науками такое же достоинство точности и совершенства, какими отличается, например, химия: с его точки зрения успехи этих наук находятся в руках естествознания, или, определеннее, физиология своими средствами внешнего наблюдения изъясняет натуру тех предметов, которые, по мнению психологов, вовсе не существуют для внешнего наблюдения

«Основанием для той части философии,— говорит сочинитель,— которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видит медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все, происходящее и проявляющееся в человеке, происходит по одной реальной его природе, то другой природы в нем нет».

Этот текст очень определенно показывает, что для его сочинителя нравственные, или философские науки суть только другое название для наук естественных, которые изыскивают все предметы, доселе входившие в область философии. В человеческом организме «философия видит то, что видят медицина, физиология, химия». Какая же надобность в этой науке, которая еще раз видит то, что уже прежде ее увидели другие науки? К доказательству медицины, химии и физиологии, что «никакого дуализма в человеке не видно, философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем... то другой природы нет в нем». Итак, вот для чего нужна философия: она нужна, чтобы сделать прибавление к учению естествознания о единстве человеческого организма,— прибавление, которое может сделать и без нее даже самая пустая голова, как только ей удастся понять этот вывод естествознания, что в человеке не видно никакого дуализма. По всему заметно, что сочинитель не соединяет никакого определенного понятия с словами: *нравственные науки и философия*; и этого надобно было ожидать после того, как он поставил ощущение, следовательно, представление и системы человеческих мыслей, а с ними и все ряды чувствований и стремлений, в круг физиологических предметов, данных для внешнего опыта, как будто представления и мысли существуют для глаза, который видит их в пространстве с фигурами и красками, для руки, которая берет и поднимает их, для носа, который обнюхивает их, и т. д.

После этого ничего нет странного, если сочинитель выдает за научные истины психологии, как точной науки, такие положения, которые вовсе не суть произведения строгого анализа. Так, например, он пишет:

«Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишиться их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи для него нужной... Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе: самая настоятельная потребность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать... После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека есть и пить».

Спрашиваем, нужна ли тут психология, и притом как точная наука, чтобы повторять то, что известно всякому простому и неученому смыслу? Что скажет естествоиспытатель, если он пошлится об этих великих открытиях строгого психологического анализа, именно, что голод заставляет человека воровать, особенно же, что человек имеет потребность дышать, есть и пить?

Между тем главная мысль, которая служит для сочинителя основанием всех его исследований о человеке, имеет свой особенный интерес. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь,— говорит он,— со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и ме-

диков отстранена всякая мысль о дуализме человека». Говорим, что эта мысль имеет свой особенный интерес, потому что она отделяет научное знание о человеке от представлений общего смысла.

Когда греческий философ Платон учил, что тело человека создано из вечной материи, которая не имеет ничего общего с духом, то он таким образом допускал дуализм *метафизический*, как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское миросозерцание отстранило этот метафизический дуализм; материю признает оно произведением духа; следовательно, она должна носить на себе следы духовного начала, из которого произошла она. В явлениях материальных вы видите форму, законообразность, присутствие цели и идеи. Если человеческий дух развивается в материальном теле, если его совершенствование связано с состоянием телесных возрастов, то эта связь не есть насильственная, положенная беспредельным произволом божественной воли: она определяется смыслом человеческой жизни, ее назначением или идеей. Материя, как говорит Шеллинг, стремится, порывается родить дух: она не равнодушна к целям духа, она имеет первоначальное и внутреннее отношение к ним. Изучите хорошо телесный организм человека, и вы можете отгадать, какие формы внутренней, духовной жизни соответствуют ему. Изучите хорошо эту внутреннюю жизнь, и вы можете отгадать, какой телесный организм соответствует ей. Итак, если сочинитель говорит, что «наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека», то против этого нельзя возражать безусловно. Только мы хотели бы определенно знать, о каком дуализме говорится здесь.

Известно, что после устранения дуализма *метафизического* остается еще дуализм *гносеологический*, дуализм знания. Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого организма, всегда мы будем познавать человеческое существо двояко: внешними чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления. В первом случае мы будем иметь физиологическое познание о человеческом теле, а во втором — психологическое познание о человеческом духе. Или и этот дуализм устранен наблюдениями физиологов, зоологов и медиков? Наш сочинитель, повидимому, отвечает на этот вопрос положительно. Как мы видели, он относит ощущение к предметам физиологии наравне с системой кишек, мускулов, нервов и т. д. Слово *дуализм*, как кажется, напугало его, и он уже не мог выяснить себе, как и откуда психология знает о своих предметах.

Кажется, ясно, что мысль не имеет пространственного протяжения, ни пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни тяжести, ни температуры: итак физиолог не может наблюдать ее ни одним из своих телесных чувств. Только внутренне, только в непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся. Эти две величины, то есть предметы внешнего и внутреннего опыта, суть, как говорят психологи, несоизмеримы: научного, последовательного перехода от одной из них к другой вы не отыщете. Физиолог будет наблюдать самые сложные движения нервов; но все же эти движения, пока они существуют для внешнего опыта, то есть пока они суть пространственные движения, происходящие между материальными элементами, не превратятся в ощущение, представление и мысль. Сочинитель говорит: «мы знаем, что ощущение принадлежит известным нервам, движение — другим». Разберите это выражение. Когда внешний толчок действует на нерв, то будет ли это нерв ощущения или нерв движения, все равно, он по поводу этого толчка придет в движение, или сотрясение: это мы наблюдаем в физиологическом опыте. Итак, нужно сказать: мы знаем, что всякий нерв приходит в движение по поводу внешнего впечатления. Но что «известным нервам принадлежит ощущение», этого мы вовсе не знаем из физиологического опыта, потому что и эти «известные нервы» представляем для внешнего физиологического опыта только движение, которое никогда не превращается на глазах наблюдающего физиолога в ощущение, представление и мысль. Или, как мы сказали выше, здесь физиоло-



гия получает свой материал от психологии. Только сравнивая опыты физиологические и психологические, мы убеждаемся, что видение таких-то и таких цветов, слышание таких-то и таких тонов возможны для души только под условием определенных движений зрительного и слухового нервов.

Но кто утверждает, что самое это движение зрительного и слухового нервов есть уже ощущение определенной краски и определенного тона, тот не говорит ни одного ясного слова. Попробуйте провести в мышлении и построить в воззрении, каким это образом пространственное движение нерва, которое при всех усложнениях должно бы, повидимому, оставаться пространственным движением нерва, превращается в непространственное ощущение, или в желание. Положим, что вы послали учение физики о зависимости объема тела от его температуры и о том, что с изменением его температуры необходимо изменяется и его объем; что сказали бы о вас, если бы вы превратили это отношение *необходимой* связи в отношение *тождества* и стали рассуждать: температура тела превращается в объем тела, объем тела есть не что иное, как его температура? А между тем учение нынешних физиологов о том, что ощущение души есть не что иное, как движение нервов, основано именно на этом превращении *необходимой* зависимости явлений в их *тождество*. Если бы нас спросили, каким образом температура *начинает* быть объемом, то нам пришлось бы отвечать: она никак не *начинает* быть объемом; только по необходимому физическому закону она производит изменения в теле, которое без объема немисливо. Таким же образом и на вопрос, — как движение нерва *начинает* быть ощущением, мы должны были бы отвечать, что движение нерва никак не *начинает* быть ощущением, что оно всегда остается движением нерва, только по необходимому закону (физическому или метафизическому, — об этом спорят еще) это движение нерва производит изменения в душе, которая немислива без ощущений, чувств и стремлений. Итак, если говорят, что движение нерва *превращается* в ощущение, то здесь всегда обходят того деятеля, который обладает этою чудною *превращающею* силой или который имеет способность и свойство рождать в себе ощущение по поводу движения нерва; а само это движение, как понятно, не имеет в себе ни возможности, ни потребности быть чем-либо другим, кроме движения.

Странно и однакоже справедливо, что сочинитель, так много говорящий в своих статьях о естественных науках, не имеет ясного представления о их методе и о их предмете. Если философии противопоставляются точные науки, то под этими последними разумеются в таком случае науки опытные, следовательно, занимающиеся явлениями и не касающиеся вопроса о метафизической сущности вещей. Теперь опытная психология и требует признать только это феноменальное или гносеологическое различие, по которому се предмет, как данный во внутреннем опыте, не имеет ничего сходного и общего с предметами внешнего наблюдения. Только на этом предположении возможна точная наука о душе, то есть о душе как определенном явлении, подлежащем нашему наблюдению. Всякий дальнейший вопрос о сущности этого явления, вопрос о том, не сходятся ли разности материальных и душевных явлений в высшем единстве и не суть ли они простое последствие нашего ограниченного познания, — поколику оно не постигает подлинной, однородной, тождественной с собою сущности вещей, — все эти вопросы принадлежат метафизике и равно не могут быть разрешены никакою частною наукой. В настоящее время, однакоже, химия и физиология нередко берутся за решение этих вопросов о сверхчувственной основе вещей, как будто эту сверхчувственную основу можно увидеть в химической лаборатории или в анатомическом театре. Так, если физиология говорит нам о единстве нервных процессов и душевных явлений, то этим она не выражает, что душевные явления должны представиться нам в научном опыте нервными процессами, или что нервные процессы должны представиться нам в научном опыте душевными явлениями: нет, разности, опытно данные, между представлениями и нервными процессами остаются такими же на конце науки, какими были

они в начале ее. Итак, учением об этом единстве она только выражает метафизическую мысль о сверхчувственном тождестве явлений материального и духовного порядка: следовательно, она дает нам мысль, которую ни утверждать, ни отрицать она не имеет основания. Наш сочинитель так же не различает вопросов метафизических от вопросов, решение которых принадлежит точным или опытным наукам. Он говорит: «принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма». Кто знаком с естествознанием и философией, тому известно, что понятие и это слово *единство* имеет чарующую прелесть для метафизика и почти не имеет никакого значения для естествоиспытателя. Успех естествознания основан на том, что оно разрешает всякое единство, всякую сущность всякий субъект, всякий организм на *отношения*, потому что только в таком случае оно может подводить наблюдаемое явление под математические пропорции. Итак, несправедливо, что идея единства человеческого организма выработана естественными науками. Правда, что некоторые физиологи допускали особый принцип органической жизни под именем жизненной силы: с этой точки зрения можно говорить о единстве человеческого организма, потому что жизненная сила доставляла бы различным материям организма то внутреннее и действительное единство, какого они, как материальные частицы, не могут иметь сами по себе. Но известно, как надобно думать об этой жизненной силе, которую нельзя ни разложить никаким анализом, ни подвести под математические пропорции: как простое, как абсолютное, оно не может идти в соображение при эмпирических наблюдениях, хотя бы метафизика и доказала, что предположение такой силы необходимо.

Замечательным образом сходятся при вопросе о единстве человеческого организма естествознание и философия в их современном положении. Физиология и химия разлагают это единство на множество материальных частей, которые в своих движениях подчинены общим физическим, а не частным органическим законам. Итак, единство человеческого организма есть для них феномен, есть нечто являющееся, кажущееся. Но откуда происходит этот феномен? Отчего множество представляется нам как единство? Отчего капли дождя представляются нам как радуга, а не как капли дождя? Отчего материальные частицы, не имеющие между собою внутреннего единства и сочетающиеся по общим физическим законам, представляются нам как единство, как целость, как один, в себе законченный образ? На эти вопросы отвечает философия и притом с математическою достоверностью: это происходит от свойств зри...

На этот раз довольно; и о «Русском вестнике», пока, тоже довольно. В следующий раз развлекусь «Отечественными записками».

## КОЛЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

### КРАСОТЫ, СОБРАННЫЕ ИЗ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

#### I

Связывать себя обещаниями — самое неблагоприятное дело. Вот, например, первое свое полемическое развлечение закончил я обещанием, что в следующий раз «поразвлекусь «Отечественными записками». Какой скуке я подверг себя этим обещанием!

Вообразите себе, ведь для составления коллекции красот из «Отечественных записок» я должен был перелистывать чуть не половину каждой книжки этого журнала за целые полгода, потому что по всем отделам, составляющимся постоянными соучастниками редакции «Отечественных записок», рассеяны в неисчислимом количестве выходки против «Современника». День, два, три дня одолевал я скуку, — наконец, по выражению поэта,

Не стало сил, не стало воли.

Просмотрев прелестные «Записки празднующающегося» в двух первых книжках почтенного журнала, я отказался от чтения этого отдела в следующих номерах. Надобно только раз поддаться слабости, она все больше будет овладевать человеком; после того я и в других отделах журнала все больше и больше листов оставлял непрочтенными. Таким образом, я не могу сдержать своего обещания вполне. Но прошу «Отечественные записки» не приписывать неполноте коллекции недостатку желания во мне выставить с надлежащими похвалами все разнообразие, остроумие и глубокомыслие их полемики: усердия во мне было много; но только Ливингстон<sup>21</sup> мог бы пройти такую обширную пустыню, не утомляясь, и вынести из нее образцы всех странных произведений, встречающихся в ней. Я ограничу свое исследование лишь двумя-тремя прекраснейшими оазисами, предварительно сказав несколько слов о характере остальной страны, которую едва мог я окинуть взором.

Страна эта велика и обильна, но порядка в ней нет. «Отечественные записки» рассуждают об очень многом, очень подробно и очевидно с прекраснейшим намерением: заботятся о занимательности, заботятся больше всего о том, чтобы выработать себе хоть какой-нибудь взгляд на дела, о которых толкуют вслед за другими журналами. Но какая-то несчастная судьба мешает им в этом превосходном стремлении. Они обречены составлять самую милую противоположность «Русскому вестнику» и «Современнику» в этом отношении. Вы можете не соглашаться с «Русским вестником», можете бранить его, если вам угодно, но вы видите, каких принципов держится «Русский вестник», чего он хочет и почему он хочет; вы должны будете признать, что свои идеи проводит он последовательно, как должно быть. То же самое вы скажете и о «Современнике». «Отечественные записки» добиваются, чтоб об них можно было сказать то же самое: вот, дескать, этот журнал имеет определенное направление, идет к известной цели, понимает, чего хочет. Но никак не могут «Отечественные записки» добиться этого; чего-чего не набито в них сплошь и рядом: западничество и славянофильство, умеренность и крайний образ мыслей, и все это обвито непроницаемым туманом. Как будто соединены листы, вырванные из «Русского

вестника» и «Современника», из «Русской беседы» и «Русского слова», с обрывками из покойного «Москвитянина» и прежних «Отечественных записок» времен Белинского. Не знаем, до какой степени нравится этот пестрый характер журнала сотрудникам, заведующим разными отделами его: мы желали бы знать мнение г. Альбертини о «Записках празднующающегося»; мнение г. Бестужева-Рюмина о статьях г. Лохвицкого; мнение г. Громеки о статьях г. Дудышкина<sup>22</sup>, и т. д., и т. д. Но, по всей вероятности, нравится эта пестрота «общей редакции» «Отечественных записок». Если бы нам, посторонним людям, необходимо было принять чью-нибудь сторону в этом домашнем разладе, мы стали бы на стороне гг. Альбертини, Бестужева-Рюмина и Громеки, которые, вероятно, еще могли бы как-нибудь итти по одному направлению, когда бы занимался общим направлением журнала из них ли кто-нибудь или другой кто-нибудь такой же. А нынешнее положение этих частных редакторов должно быть очень затруднительно: одна статья дергает журнал туда, другая — сюда; из одной статьи слышится отглас г. Аполлона Григорьева, из другой статьи — отглас г. Дружинина<sup>23</sup>; в третьей статье раздается задорное козлогласование г. Лохвицкого; четвертая статья написана последователем г. Кавелина; так что сам Гегель затруднился бы возвести эти разногласия к синтезу. Мы чрезвычайно полагаемся на добросовестность людей, не лишенных здравого смысла; потому надеемся, что гг. Альбертини, Бестужев-Рюмин и Громека соглашаются с нами. А если не согласны, то приглашаем их заявить печатно, что мы ошибаемся в их чувствах. Да, мы просим их об этом, и, любя каждый вопрос ставить так, чтобы его решение было неизбежно, мы говорим, что, если гг. Альбертини, Бестужев-Рюмин и Громека не дадут категорического ответа на вопрос о существовании или несуществовании нескладицы в «Отечественных записках», их молчание будет всеми принято за согласие с нашим мнением.

Принимая в соображение эту нескладицу, мы считаем необходимым рассматривать каждый отдел «Отечественных записок» особенно от других отделов, как особый маленький журнал, только переплетенный в одну толстую книгу с несколькими другими особенными журналами, а каждую отдельную статью, как особенную брошюрку, сшитую с другими такими же брошюрками по капризу переплетчика.

## II

Первое место в ряду журнальцев, составляющих «Отечественные записки», занимает «Политическое обозрение», который заведует г. Альбертини. Я не боюсь говорить то, справедливость чего знает и мой противник, хотя бы и был я уверен,

что он почтет за нужное печатным образом отречься от того, что я говорю. Пусть отпирается, — все равно, людям литературного круга останется попрежнему известно, а каждому читателю из собственных слов его будет видно, что отрывается он напрасно. За этим предисловием сообщу я следующий факт.

Прочитав первую мою статью, заканчивавшуюся обещанием, что я поразвлекусь «Отечественными записками», г. Альбертини потерял спокойствие духа. Он мучился страхом, что я стану говорить о его полемических подвигах против «Современника» таким тоном, какого заслуживают они по своей непристойности. Напрасно боялся он этого. Я вовсе не намерен огорчать его. Но зато он позволит мне пожалеть о нем и дать ему совет, искренность и верность которого он может проверить, спросив мнения у своих друзей.

Есть люди очень благородные, но чрезмерно склонные поддаваться всяким без разбора внушениям. Они безукоризненно держат себя, пока живут в обществе, где все так же благородны, как они сами. Сошедшись с людьми пошлыми, они иногда делают поступки не совсем хорошие под чужим влиянием. Г. Альбертини — один из этих людей нетвердого характера. Он делает очень хорошо, если постарается жить исключительно в кругу людей благородного образа мыслей, как жил, если не ошибаюсь, до своего переезда в Петербург<sup>24</sup>. Пусть он спрашивает у них мнения о том, что пишет. Без такой поддержки он может вовсе испортиться. Повторяю: пусть он спросит у своих друзей, правду ли я говорю ему.

Боязнь моего заслуженного сарказма, конечно, заставляла его в эти последние недели припоминать с раскаянием те выходы против «Современника», до которых унижался он. Я уверен, что в тяжелом ожидании этой моей статьи он внутренне проклинал чужие внушения, которые подвели его под удары, грозившие ему, по его мнению. Пусть он успокоится: мне жаль наказывать его, потому что довольно наказан он собственным чувством. Я оставляю без всякого упоминенья нехорошие вещи, которые он писал против «Современника». Я только хочу предостеречь его, чтобы он не спешил вперед спорить каким бы то ни было тоном — грубым ли, деликатным ли — с людьми, которые гораздо лучше его знают, что говорят, почему и зачем говорят. Не приводя его неприличных выражений, чтобы не позорить публично человека, уже стыдящегося в душе, я возьму только основные мысли из одной статейки его против «Современника» и кротким тоном, без всякого полемического оттенка, покажу ему, что тот, кто делает такие возражения, ставит себя в невыгодное положение. Беру для этого опыта помещенные в № IV «Отечественных записок» возражения против «Письма из Турина, напечатанного в № III «Современника»<sup>25</sup>.

Смысл этого письма кажется очень дурен вам, г. Альбертини (не любопытствовал я узнать, сам г. Альбертини или кто другой написал пересматриваемую мною диатрибу; но все равно, она помещена в отделе, которым заведует он, стало быть, он отвечает за нее). Вас огорчают наши отзывы о Кавуре и его партии; вы воображаете, что мы оскорбляем итальянский народ. Напрасно вы это говорите. Вам следовало бы самому знать то, что я постараюсь рассказать вам в нескольких словах.

В каждом обществе есть консерваторы и прогрессисты. Займемся прогрессистами. Между ними есть множество подразделений, но интерес нации требует, чтобы они понимали одинаковость главного своего стремления и соединялись в одно целое для борьбы с общими своими противниками, отвергающими прогресс. Исполняется или не исполняется это важное условие национального блага, зависит от умеренных прогрессистов. Крайние прогрессисты так преданы делу совершенствования, что всегда готовы, принося в жертву и самолюбие, и мелкие расчеты, поддерживать умеренных. Если умеренные прогрессисты одарены политическим тактом, они понимают это и принимают союз, предлагаемый им крайними прогрессистами. Тогда дело совершенствования идет настолько успешно, насколько может идти при данном состоянии национального расположения. Но иногда умеренные прогрессисты отвергают союз. От этого страдает дело прогресса, то есть благо нации. Примеры тому и другому представляет Англия. Нынешний предводитель умеренных прогрессистов в Англии — лорд Пальмерстон, крайних прогрессистов — Брайт. Будем для краткости называть эти отделы прогрессивной партии именами их предводителей. Когда Пальмерстон опирается на Брайта, его министерство непоколебимо. Когда он отталкивает от себя Брайта, он теряет власть. Умно ли поступает Пальмерстон, когда держится в союзе с Брайтом? Умно ли, когда отталкивает его? Но Пальмерстон, как бы там ни судили мы о его убеждениях и правилах, — человек расчетливый, а, вернее сказать, парламентская тактика очень хорошо выработалась в Англии; потому Пальмерстон постоянно держится в Союзе с Брайтом, и если иной раз по упрямству оттолкнет его, тотчас же понимает свою ошибку и спешит мириться с ним.

Дозволительно ли не благоговеть перед мудростью Пальмерстона, г. Альбертини? Если позволительно, тем больше можно не преклоняться перед Кавуром, не имевшим даже и того такта, который находим в Пальмерстоне.

Излагать ли историю его ошибок? Пересматривать весь ряд их было бы слишком долго, — отсылаем г. Альбертини к статье о Кавуре в № 6 «Современника»; здесь напомним об ошибках, относящихся лишь к тому времени, о событиях которого не говорит эта статья, как о вещах, по их недавности еще не забытых никем.

Между частями Италии, соединившимися в одно государство, существует спор об относительном их значении для итальянской национальности. Милан, Флоренция, Болонья, Неаполь не могут уступить первенства друг другу, тем менее уступить его Турину. Все они согласны уступить первенство только Риму. Кавур до последней возможности спорил против мысли перенести столицу государства в Рим, — спорил не потому, что рано было думать об этом, а потому, что «Пьемонт освободил Италию, следовательно, столицей Италии должна остаться столица Пьемонта»\*. Кавур доказывал, что Рим — город прошедшего, город мертвый, что он не годится быть столицей. Пусть бы он говорил, что надобно повременить, что обстоятельства еще не позволяют думать о Риме, — нет, он доказывал по принципу, что общее стремление итальянцев совершенно ошибочно. Он отказался от желания оставить Турин вечною столицей итальянского королевства только тогда, когда уже возбуждено было в итальянцах много желчи его сопротивлением. Это ли называется политическим тактом?

Итальянцы очень раздражаются мыслью, что их страны присоединяются к Пьемонту не по принципу равноправности, а с подчинением Пьемонту как господствующей стране. Кавур провозглашал это подчинение с очень странным самодовольством. Он восхищался, когда говорил: «мы, пьемонтцы, выше всех вас, остальных итальянцев». Это ли называется искусством государственного человека? Узкость понятий Кавура в этом отношении была удивительна. Например, гражданские и уголовные законы в Тоскане лучше пьемонтских; в Неаполе — также. Кавур хотел заменить их пьемонтскими. Это страшно оскорбляло Тоскану и Неаполь. И каким путем хотел произвести такую перемену Кавур? Самым бестактным. Он хотел действовать распоряжениями прямо от имени туринского министерства. Вся Италия говорила: нужно установить одинаковые законы для всех частей Италии; но эти законы пусть будут составлены и введены правильным порядком, через парламент. Кавур не хотел этого. Почему не хотел? Понятно было бы, если б он опасался, что парламент установит законы не на тех принципах, какие считал хорошими он. Но парламент состоял из его приверженцев, действовал бы в его духе. Опять понятно было бы, если бы Кавур был неприятен парламентской форме. Но он был искренним приверженцем ее. Потому его странное противоречие общему желанию не объясняется ничем, кроме узкости понятий, кроме бестактности.

Вещь известная, что для слияния прежних отдельных частей в одно крепкое целое надобно не оставлять этих частей административными единицами, а раздроблять их на мелкие округа, которые не имея связи между собой, имели бы отношение прямо

\* То есть Турин. — Ред.

к центральному правительству. С этой целью были некогда раздроблены французские провинции на департаменты. В кабинете Кавура был выработан проект, прямо противоречивший этому простому соображению. Предполагалось оставить Италию в административном отношении разделенной на «области» или «страны», соответствующие прежним отдельным государствам. Этот проект все итальянцы нашли прямо противоречащим упрощению итальянского королевства. Кавур защищал его, даже и не по самолюбию, потому что автор проекта был не он, а министр внутренних дел Мингетти<sup>26</sup>, — нет, по какой-то непостижимой несообразительности. Мингетти самими приверженцами Кавура был признан за человека неспособного и непопулярного; они сами упрашивали Кавура заменить Мингетти кем-нибудь другим, кем ему угодно, лишь бы кем-нибудь другим. Кавур оставил Мингетти на месте, — хотя бы по какому-нибудь личному пристрастию к Мингетти, — нет, просто по бестактному упрямству.

Говорить ли об отношениях Кавура к Гарибальди? Пусть бы Кавуру казалось нужным отстранить Гарибальди; но разве нельзя было устроить это благовидным образом? И разве Гарибальди такой человек, которого трудно оттеснить от власти? Нет, он сам готов был удалиться. Но Кавур наносил ему мелкие обиды, решительно ни для чего не нужные; если, например, было два человека, которым предполагалась одинаковая награда, и если узнавали, что один из них хорош с Гарибальди, то отменяли назначенную ему награду. Если являлось на какую-нибудь должность два кандидата, одинаково достойных или недостойных ее, и если об одном из них узнавали, что у него были неприятности с Гарибальди, должность давали ему. Если предполагали где-нибудь встретить Гарибальди, то залу, в которой должна произойти встреча, нарочно старались наполнить людьми, имевшими личные неприятности с Гарибальди. Что это такое? неужели это достойно серьезного человека? Кавур унижался тут до мелочного подпускания шпилек, которое простибельно только пустым людям. Просим г. Альбертини понять, что мы тут говорим не о правах Гарибальди, а только о выгодах самого Кавура; не о том, что Кавур поступал неблагодарно или неблагородно, а только о том, что он поступал чрезвычайно бестактно. Он раздражал против себя прямотдушную массу людей во всех партиях и даже в своей собственной этими странными поступками, совершенно неприличными.

А что сказать о сообразительности, какую выказал он относительно солдат бывшей неаполитанской армии и относительно вслонтеров Гарибальди? Мы не о том говорим, можно ли было сформировать порядочное войско из бывших неаполитанских солдат; положим, что нельзя, хотя, наверно, было можно. Мы не о том говорим, могли ли быть хорошим войском волонтеры;



положим, что не могли, хотя не только могли, но уже и были. Положим, что Кавур не ошибся в мысли о неспособности тех и других к военной службе, хотя он и ошибся в этом. Но благо-разумно ли распускать вооруженных людей в огромном количестве без всякого надзора, сняв с них всякую дисциплину и не приислав для них никаких средств существования, распускать их в стране, в которой нет ни войска, ни даже порядочной полиции? Каждый знает, что это значит делать их бандитами. Они бес-приютны, они голодны, они не приищут себе никакого промысла и начинают разбойничать. Это сочинил Кавур. Он сочинил те шайки, для истребления которых послан теперь Чальдини с 50 тысячами войска. Умно ли это? спросим мы у г. Альбер-тини.

Просим его сказать также, знает ли он, что мы указываем на ошибки, сделанные только в течение одного года, и не упоминаем о других ошибках за тот же год, еще более важных, — не упо-минаем потому, что они относятся не к одному этому году, а ко всему ряду лет власти Кавура?

Другим извинительно, когда они не знают или не понимают этих ошибок. Но в г. Альбертини это странно. Он находился в кругу людей, понимающем вещи не хуже, чем мы, и так же, как мы, не черпающем своих мнений готовыми из какого-нибудь *Journal des Débats* или *Revue des Deux Mondes*. Он должен знать, что такое здравый смысл, не позволяющий принимать без всякой критики болтовню какого-нибудь Сен-Марк-Жирардена или Форкада, у которых великие люди растут из-под пера, как грибы, у которых и Дюма-сын — гениальный романист, и Октав Фёлье<sup>27</sup> — гениальный драматург, и всякий маршал — гениаль-ный полководец. Неужели г. Альбертини так скоро разучился понимать все, что умел понимать?

И неужели он так скоро разучился сочувствовать всему, чему, конечно, сочувствовал, когда находился в кругу людей ум-ных и благородных? А если б не разучился, он понимал бы, под влиянием каких мыслей писана статья, выходками против кото-рой так прискорбно он роняет себя. Неужели не было времени, когда он сумел бы сам отвечать на вопрос о наших симпатиях и антипатиях, — вопрос, которого и предлагать не стоит, потому что они ни для кого не составляют секрета. Пусть г. Альбертини обдумает хорошенько, должен ли он стыдиться этого вопроса. Напрасно вы компрометируете себя, г. Альбертини. Не делайте этого вперед. За подобные вопросы перестают уважать писателя не только как писателя, но и как человека. Понятно ли вам хотя это? Или даже и это непонятно?

Или вам непонятно, почему усиливается в русской литера-туре направление, вами осуждаемое? Попробуйте припомнить вещи, которые, конечно, были хорошо вам известны еще не

очень давно, и вы поймете. Но об этом мы можем и поговорить с вами. Извольте, поговорим.

Вы знаете, что в каждой литературе преобладание одного направления сменяется другим сообразно расположению общества, а расположение общества изменяется обстоятельствами исторической жизни. Это все равно, как меняется расположение мыслей в отдельном человеке от перемены в обстоятельствах его жизни. Знаете ли вы, как разгоняются иллюзии опытом жизни? знаете ли вы, какое чувство овладевает человеком, увидевшим обманчивость своих иллюзий? знаете ли вы, что он любит тогда людей, говорящих сурово и насмешливо? То же бывает и с обществом. Если вы не понимаете этого, вы живете в мире иллюзий, которыми уже почти никто не обманывается. Желаем вам выйти поскорее из этого незавидного обольщения. А пока вы не вышли из него, «Современник» не будет вам нравиться. Вы лучше читайте пока «Историю Государства Российского» Карамзина, похвальные слова Ломоносова, «Леонида» г. Р. Зотова, «Рославлева» и «Юрия Милославского» Загоскина, — да и мало ли есть прекрасных книг<sup>28</sup>! Но знаете ли? Пока вы находитесь в таком настроении мыслей, не пробуйте рассуждать печатным образом о нас. Милое дитя, избегайте полемических встреч с нами.

### III

К г. Альбертини я был снисходителен, главным образом из уважения к людям, к которым он принадлежал, когда они задумали было издавать «Московское обозрение»<sup>29</sup>.

Но мне наскучило сдерживать себя. Надобно же и посмеяться; да надобно и показать на ком-нибудь пример г-ну Альбертини, чтобы он видел, как могло бы ему достаться за его недобдуманные выходки. Г. Буслаев так обязателен, что без всякой надобности, единственно по доброте душевной доставил мне прекрасный случай развлечься.

Дело произошло следующим порядком. Вышло собрание сочинений г. Буслаева. Г-н Пыпин поместил в «Современнике» разбор их. Статья была написана совершенно серьезным тоном, с уважением к ученым заслугам г. Буслаева. Ни оскорбительного, ни насмешливого не было в ней ни на волос. Г-н Пыпин не соглашался с некоторыми мнениями г. Буслаева, но спорил против них так, что самый самолюбивый и раздражительный человек не мог бы обидеться таким спором. Тем менее мог ожидать кто-нибудь, что оскорбится статьею г. Пыпина г. Буслаев, человек почтенного характера, чуждый болезненного тщеславия. Но через три месяца является в «Отечественных записках» «Письмо к А. Н. Пыпину» г. Буслаева — письмо, каждая строка которого так и дышит желанием уязвить. Что такое сделалось

с г. Буслаевым? За что воскипел он желчью на г. Пыпина? Вот за что.

К той книжке «Современника», где находилась статья г. Пыпина о г. Буслаеве, был приложен «Свисток»; к одной из статей этой тетради «Свистка» было сделано примечание, восстанавливавшее очень любопытные черты древнеславянского эпоса на основании приписанных там графу Хвостову стихов, ровно ничего такого в себе не заключавших. Вот эти стихи:

Что награды все другие  
Пред сокровищем таким?

Автор ученого примечания в «Свистке» делал филологический разбор слов «награда» и «сокровище». Оказывалось, что в слове «награда» лежит смысл скандинавской Валгаллы, а под «сокровищем» разумеется жительница Валгаллы, то есть Валькирия, и. т. д., и. т. д. Это изыскание заканчивалось ссылкой на сочинения г. Буслаева<sup>30</sup>.

Дурно это было или хорошо, остроумно или глупо, обидно или безобидно, — но какое отношение имела эта шутка к статье г. Пыпина? Ровно никакого, кроме того, что напечатана была в той же книжке журнала. С какой стати было яриться за это примечание на г. Пыпина? Пусть г. Буслаев скажет, умно ли поступил бы тот, кто стал бы сердиться на него, г. Буслаева, за «Очерки винокуренной промышленности» г. Лескова или за стихотворение «Слезы кукушки» на том основании, что эти вещи напечатаны в одной книжке журнала с его письмом к г. Пыпину? Но, видите ли, г. Буслаеву вздумалось, что насмешка в «Свистке» написана г. Пыпиным. Трех месяцев было бы, кажется, достаточно, чтобы справиться о верности этого предположения, если не достало у г. Буслаева рассудительности, чтобы с первого же раза увидеть вздорность такой догадки.

Г-н Пыпин участвует в «Свистке» гораздо меньше, чем г. Буслаев. Почему это г. Буслаев вздумал приписать г. Пыпину статейку, на которую рассердился? Он увидел в этом примечании такую ученость, что вообразил, будто оно непременно написано специалистом. Но разве г. Буслаев так простодушен, что принимает за чистую монету толки неприязненных нам журналов о нашем невежестве? Ему это неизвинительно. Он жил в кругу ученых людей в Петербурге. Почему бы не мог, например, я написать ученое примечание, рассердившее г. Буслаева? Правда, я давно бросил занятия славянскими наречиями и древностями и успел позабыть миллионы филологических и археологических мелочей; но почему бы не предположить, что при всей этой убыли сохранилось в моей памяти достаточное количество этих мудростей, так что еще сумел бы, если бы захотел, писать вещи не менее ученые, чем сам г. Буслаев? Почему бы, например, не предположить, что именно я — автор ученого примечания

в «Свистке»? Если бы г. Буслаев был несколько сообразительнее, он предположил бы это, и не ошибся бы. Тогда не разыграл бы он смешную роль, излив свою желчь совершенно не впопад.

Но ему захотелось, чтобы оценка его сочинений в «Современнике» принадлежала тому человеку, который написал рассердившее его примечание. С удовольствием исполняю его желание.

Г-н Буслаев — человек очень трудолюбивый и занимается своим предметом усердно. С этой стороны он достоин всевозможных похвал. Но трудами его наука не может воспользоваться. Почему же так? По той причине, что у него решительный недостаток критики. Как филолог, он соблазнился эксцентрическими прыжками Якова Гримма, любящего поэтические вольности в сравнениях корней и форм. Но ведь то — Яков Гримм; он каков бы там ни был, а все-таки — человек очень большого ума. У него эти вольности — просто каприз, отдых, шалость. А г. Буслаев пошел по этой линии так серьезно, что, можно сказать, дошел до точки. Во втором ученом грехе г. Буслаева виноват, вероятно, тот же Гримм. Отрывочные данные германской мифологии Гримм очень любит объяснять богатыми рассказами скандинавской мифологии. Г. Буслаев тоже набивает свои изыскания скандинавской мифологией. Тут опять та же разница: Гримм редко фантазирует до того, чтобы выбиваться из-под власти здравого рассудка, который у него очень силен; а г. Буслаев — поэт в душе, и как начнет говорить, то уже и заговаривается бог знает до каких вещей. Кроме Гримма, нашлись для г. Буслаева и другие соблазнители. Он филолог — это так; но сверх того очень любит живопись и гравюры. По своей специальности заинтересовался он средневековою живописью и рисованием. По какой-то особенной беде, прежде чем случилось ему приобрести основательное знакомство с этим предметом, попались ему в руки книги, принадлежащие школе так называемых дорафаэлистов, то есть художников и ученых, ставящих средневековую живопись выше новой. Он поддался этому направлению. Этого всего было мало, — подвернулись на грех еще наши славянофилы; он и из них почерпнул. В довершение всего очень понравилась ему «Божественная комедия» Данте. Можете вообразить себе теперь, в каком затруднительном положении находится его образ мыслей. О чем ни начнет он писать, вечно происходит с ним такая история. Возьмите самое немудрящее слово — положим, «лукошко». Тотчас вспоминается ему, что в Индии есть город Лукнов: это очевидно одно и то же. В Лукнове поклоняются какому-нибудь божеству, — положим, хоть Индре. Из этого тотчас следует, что лукошко у древних славян было символом Перуна, соответствовавшего индийскому Индре. Оно и действительно: лукошко имеет круглую форму, а у Гольбейна<sup>31</sup> есть ряд превосходных рисунков, называющихся «танец смерти», — следует разъяснение,

что эти рисунки по своей мысли гораздо выше всех рафаэлевских картин; на этих рисунках люди пляшут, сцепившись руками, вроде нашего хора, имеющего форму круга. Но скандинавы представляли себе смерть в виде бледной Гелы; а у нас существует оборот речи «бледен как смерть»; ясно, что надобно взять из какой-нибудь славянской рукописи рассказ о смерти какого-нибудь человека, сравнить с ним скандинавские рассказы, относящиеся к Геле, и мифологическое значение нашего рассказа чрезвычайно разъяснится, и через несколько страниц будет видно, что знаменитая Беатриче в «Божественной комедии» — тот же самый тип, который известен у нас под именем Амелфы Тимофеевны; только Амелфа Тимофеевна сохраняет черты первоначального эпического типа яснее, чем Беатриче. Теперь возвратимся к лукошку: не ясно ли вам, что славянское гаданье на решете имеет связь с индийским поклонением Индре, по сходству решета с лукошком? Такова была высокопоэтическая красота древнего русского эпоса!

Спрашиваем самого зачатого приверженца трудов г. Буслаева, не представляется ли наш краткий эскиз верным снимком хода мыслей из какого угодно исследования г. Буслаева? Но все это пересыпано у него бесчисленным множеством выписок, свидетельствующих о большом трудолюбии; так что если попадется статья в руки специалиста, он найдет в ней очень много любопытных фактов и отрывков из рукописей. Только сбиты они у г. Буслаева в беспорядочную кучу без всякой критики, так что легче бывает самому пересмотреть источники и собрать материалы, чем разобрать нужное от ненужного, верное от фальшивого в статьях г. Буслаева. Мне жаль было, что такое трудолюбие и такая ученость, как у г. Буслаева, пропадают без всякой пользы для науки оттого, что недостает у него критики. Я хотел в примечании к «Свистку» шуткой обратить его внимание на этот недостаток, портящий все у него. Ему угодно было возъяриться на г. Пыпина. Впрочем, хорош и я: вздумал исправлять ученого, чуть ли не двадцать лет подвизавшегося своим путем и дошедшего им до знаменитости! Как это не пришло мне в голову итти в Летний сад и выпрямлять там кривые деревья?

Я еще ничего не говорил о направлении трудов г. Буслаева: когда ученое исследование пишется без всякой критики, оно не приносит пользы науке, хотя бы написано было и в хорошем направлении. Что же сказать, если направление труда таково, что заслуживало бы порицания и при всевозможном совершенстве труда с технической точки зрения? Впрочем, я ошибся, заговорив о порицании за направление. Г. Буслаев и в образе мыслей точно так же странствует по всевозможным направлениям, как в подборе фактов хватается без разбора за все, о чем вспомнит. Какое тут порицание? Тут жалеешь только, что по слабому развитию нашей ученой литературы пришлось занимать само-

стоятельное положение трудолюбивому человеку, который был бы очень полезен, если бы нашел себе в молодости руководителя и работал бы по его указаниям. Но этот недостаток, в котором никак нельзя винить добрую волю г. Буслаева, а надобно винить только природу, не давшую ему умственной самостоятельности, — этот недостаток для нашей жизни вреднее чисто специальных недостатков работ г. Буслаева. На него-то и обратил внимание г. Пыпин в своей статье. Г-н Буслаев — друг просвещения, приверженец прогресса; в этом никто не сомневается; но сладить с своим предметом он никак не может и беспрестанно сбивается к мыслям, принадлежащим такому взгляду, который прямо противоречит другим его убеждениям. Разумеется, взъискивать с него за это нечего: значит, уж судьба такая вышла от природы человеку, чтобы сбиваться с верного взгляда на предмет. Но г. Буслаев для многих кажется авторитетом, — вслед за ним и другие сбиваются с толку. Значит, при всем желании молчать о г. Буслаеве — приходится говорить об ошибочности его направления.

#### IV

Он очень претендует на помещенную о нем в «Современнике» статью за то, что она будто бы истолковывает его слова в смысле, которого они не имеют. Когда г. Пыпин говорит, что должно смотреть на деле вот таким образом, г. Буслаев замечает: «я точно так и смотрю на него; напрасно вы утверждаете, будто я смотрю на него иначе»; и в доказательство г. Буслаев приводит отрывки из своей книги. Вот в том-то и главная беда, что у г. Буслаева можно найти отрывки взглядов всяческого рода. Он и любит суеверие, и не любит его, и восхищается им, и находит его вредным, — все найдете у него, только того не найдете, чтобы он сам замечал раздвоение своих мыслей. Но пристрастие к отжившему и нелепому берет у него верх над современными убеждениями. Доказательств тому мы не будем искать в его книге; пересмотрим только его письмо к г. Пыпину, — письмо, имеющее целью доказать, что он, г. Буслаев, не «старовер». Полемизируя против этого обвинения, г. Буслаев, конечно, старался не подать новых поводов к обвинению его в староверстве. Конечно, он был осмотрителен в своих словах, заботился выказать всю современность своих убеждений. Посмотрим же, до какой степени ему удалось это.

«Славянофильская самостоятельность кажется мне гораздо достойнее подначального западничанья» («Отечественные записки», апрель 1861 г. Критика. Стр. 61). «Прежнее мнение о бесплодности в поэтическом отношении литературных произведений, которые Русь получала из Византии, отвергнуто не мною, но Либрехтом, Вольфом и целою толпою современных исследо-

вателей народной старины» (стр. 62). Итак, г. Буслаев думает, что влияние Византии было полезно для нашей поэзии? или он этого не думает? «Кто же отказывал в высоком поэтическом характере римскому патерику папы Григория Двоеслова?»<sup>32</sup> (стр. 62). Далее следуют выписки из книги г. Буслаева в доказательство, что его мысли сходны с мыслями г. Пыпина. Мы не хотим обращаться за доказательством противного к самой книге г. Буслаева, в которой, конечно, наговорил он гораздо больше неосторожного, чем в своем письме, — потому пропускаем эту часть статьи, относящуюся к книге. Переходим к второй половине статьи, где он излагает свой образ мыслей. «Я хотел относиться к старине беспристрастно и не горячился против византийства потому именно, что не имел я и не мог иметь к нему никаких личных отношений, изучая вопрос только теоретически» (стр. 73). Странный человек! вас порицают за то, что вы не представляете вредных сторон известного предмета, а вы оправдываетесь тем, что не имеете к нему личных отношений, изучаете его только теоретически. Да разве теоретическое изучение требует того, чтобы не выставлять в предмете вредных сторон, если они есть в нем? И разве, если не имеете вы личных отношений к халифу Омару и Григорию XIII, то не должны находить их действия дурными? Да и какие личные отношения можете вы иметь к ним? «Время, ведущее к лучшему, примиряет с прошедшим злом, и историк имеет право попытаться в темном явлении прошлой жизни открыть и лучшую сторону» (стр. 77). Так вы пытаетесь открывать хорошие стороны в темных явлениях прошлой жизни и примиряетесь с прошлым злом? Нечего сказать, хорошо вы оправдываетесь. Г-н Пыпин находит, что дорафаэлевский живописец Беато Анджелико слишком нравится г. Буслаеву, — г. Буслаев возражает: «почему вы ограничиваете мой вкус одним Беато Анджелико? Я такую же честь воздаю и Чимабуэ, и Перуджино» (стр. 80). Вообразите себе, что я порицаю кого-нибудь за пристрастие к пустым романам Александра Дюма-старшего, а он мне возражает: «я не одного Дюма-старшего люблю, а люблю также Поля Феваля и маркиза Фудраса». Не правда ли, мастерски защитился человек! Но г. Буслаеву мало кажется, что он защитился таким манером, он прибавляет: «Я разделяю симпатии и не к одной старой итальянской живописи. То сочувствие, с которым я говорю о «Коне смерти» Альбрехта Дюрера и о «Пляске смертей» Гольбейна, избавляет меня от исключительной школы Беато Анджелико» (стр. 81). То есть, тот же вымышленный мною любитель Александра Дюма-старшего продолжает: «да и не одних французских романистов я люблю, я люблю также Августа Лафонтена и Коцебу»<sup>33</sup>. Нечего сказать, понял человек, в чем дело. Очень не нравится г. Буслаеву предположение, что он занимается «искусством для искусства». «Этот пошлый принцип всегда был мне ненави-

стен», — говорит он (стр. 82). Прекрасно; только зачем же вы на нескольких страницах пред тем распространяетесь, что искать практических отношений знания к жизни — дело, не достойное ученого, и заключаете свои рассуждения об этом словами: «помилуйте, наше ли (то есть г. Буслаева) дело заниматься такими пустяками?» (стр. 76), — то есть практическим отношением знания к жизни. В вашей благонамеренности никто не сомневается; но есть у вас способность не понимать того, о чем с вами говорят и что вы сами говорите. От всей души верим, что «пошлый принцип искусство для искусства всегда был вам ненавистен»; только не понимаете вы того, что совершенно одинаков с ним принцип «наука для науки», — принцип, в защиту которого написана одна половина вашей статьи, другая половина которой наполнена намеками, что г. Пыпин хочет жесть раскольников. Но об этом после, потому что намеки эти обратились на г. Пыпина только по ошибочной горячности г. Буслаева: они относятся, конечно, к автору примечания в «Свистке», то есть ко мне. Рассудим сначала о достоинстве оправданий г. Буслаева, а его нападения оценим после. Защищаясь от подозрения в том, что желает восстановить старину, он заканчивает свою апологию словами: «Итак, позвольте с вами не согласиться, когда вы утверждаете, что русская старина уже потеряла в наше время свою жизненность и способность к развитию» (стр. 84). Добрейший г. Буслаев! Как же вы не сообразили, что таких слов говорить вам не следовало? Что же, по-вашему, русская старина имеет жизненность и способность к развитию? Что же, по-вашему, далеко такое мнение от староверства?

По всей вероятности, г. Буслаев защитился бы превосходно, если б только понял, что такое вещь, в которой его обвиняют, и от каких выражений и мыслей надобно удерживаться, чтобы не навлекать на себя новых упреков за то же самое. Его беда лишь в том, что не всегда умеет он сообразить, что такое говорит. А если б умел он сообразить, много прекрасных вещей он писал бы и многих дурных фраз и страниц он не написал бы. К последнему разряду он сам отнесет свои нападетельные выходы против автора статейки в «Свистке», когда я растолкую ему смысл их. Письмо к г. Пыпину проникнуто желанием выставить г. Пыпина за человека, плохо знакомого с предметом исследований г. Буслаева. Пусть сам г. Буслаев рассудит, умно ли это. Ведь он сам знает, что г. Пыпин, — такой же специалист, как и он, г. Буслаев; знает он, то есть г. Буслаев, что знают это все занимающиеся русской литературой или археологией. К чему же было намекать о плохом знакомстве г. Пыпина с делом? Ведь это значит только напрашиваться самому на такое предположение: г. Буслаев не в силах разобрать, с знанием дела или без знания дела написана статья, если статья затрагивает его самолюбие. А впрочем, едва ли не напрасно было бы



предполагать, что г. Буслаев думал выставлять г. Пыпина человеком малознающим, — ему вероятно, и в голову не приходила такая нелепость, и, вероятно, намеки эти вкрались в его письмо совершенно незаметно для него самого, как вкрались в его труды очень много таких вещей, которых он совершенно не был намерен влагать в свои труды.

Точно так же мы объясняем его милые намеки о том, что «Современник» хочет жечь раскольников, истреблять народную словесность, да притом еще насильственными средствами и т. д., и т. д. Тут мы остаиваемся и спрашиваем г. Буслаева: делал ли он такие намеки? Добродушный и благородный ученый, конечно, с азартом воскликнет: «никогда ничего подобного не было у меня в мыслях! Я гнушаюсь подобными пошлостями! Вы клеветаете на меня, находя их в моем письме!» Мы совершенно уверены, что это благородное восклицание сделает он от искренности душевной. Но пусть же он теперь попробует сообразить, к кому должны быть относимы читателем и в каком смысле должны быть понимаемы читателем следующие места из его письма:

«Вы смотрите на вопрос с точки зрения практической и желали бы видеть в руках простолюдина хорошую историю или географию — в добрый час! Давайте народу такие книги, если они есть; и если будут они понятны и пригодны, то и без вашего содействия народ сам усвоит себе и распространит их; но я вполне убежден, что *ни возвращать, ни пускать* в народ что-нибудь насильственно ни под каким условием невозможно. Главная наша беда в том, что всякий, надевший на себя немецкий кафтан, не иначе умеет относиться к русскому простолюдину, как в грозных формах станového пристава, даже в таком мирном деле, как народное просвещение. Народная книга ведь — не какая-нибудь подьяческая повестка, которую можно пустить в ход» (стр. 77). «А между тем, в ожидании какой-то толковитой географии, вы желали бы в видах прогресса остановить в обращении народном старинные народные книги. Зачем нам, людям ученым, входить в эти дрязги? И без нас много охотников истреблять всякую зловредную книжную старину. Пусть Скалозубы для пресечения всякого зла изъясляют похвальное рвение: собрать все книги, да и сжечь... Нет, практика — дело самое щекотливое. И только в письме к вам из вежливости касаюсь я этого противного для меня предмета» (стр. 78). «Может быть, в практическом отношении для русской народности действительно нужны операторы вроде тех, которые избавляли крещеную Русь от Аввакумов, Лазарей и других пустосвятов; но этот вопрос вовсе не входит в круг моих исследований. Он действительно уже патологический; а я занимаюсь только литературой и искусством: то какой же я могу быть указатель при рекомендуемых вами практических ампутиациях?» (стр. 81). «Вы ловили меня на славянофильстве, когда удостоивали меня следующих отзывов: «исследования г. Буслаева останутся односторонними; — г. Буслаев положительно ошибается; — г. Буслаев впадает в решительно одностороннее объяснение фактов. Г-н Буслаев положительно неправ тем, что забывает...» Одним словом, точно будто привели вы какого-то зловредного старовера в земский суд и даете ему острастку с подобающими внушениями. Позвольте мне из любви к археологии в этой сцене видеть остаток нашей родной старины и утешить себя мыслью, что еще на наш век хватит древнерусских нравов и обычаев. В том же дорогом для меня национальном смысле мне хотелось бы понять и ваши преследования за мою любовь к науке без отношения к практике

и за мои увлечения археологиею и другими бесполезными предметами. «Долгое изучение породило в нем (говорите вы обо мне) обыкновенное пристрастие ученого... Господин Буслаев по своему влечению к древности... Не слишком ли г. Буслаев увлекается археологическим интересом русских памятников?» (стр. 26). Говоря безотносительно, увлечение интересами науки никогда не бывает слишком, потому что только увлечение, то есть воодушевление, и может поддерживать в ученом деятельность; но с точки зрения национальных русских преданий вся сущность науки содержится в практике. Того же мнения были и почтенные старцы, осудившие в XVI веке дьяка Висковатого<sup>34</sup>. Древнее верование в чернокнижие и доселе еще на Руси не вымерло и дает о себе знать опасением вреда от наук. А какие еще у нас науки, как сравнить с Западом? Между тем мы все чего-то от них боимся и даже, по старинной привычке, презираем и преследуем ученость. Много ли наша наука сделала для изучения Византии? А мы уж боимся византийства; только что начинает разрабатываться наша старина и народность, а мы уж боимся староверства и отсталости. Когда-то завели было в университетах философию и тотчас же испугались по старой памяти о треклятом чернокнижии» (стр. 83, 84).

Позвольте вас спросить, г. Буслаев: к кому относили эти слова, когда писали их? К г. Пыпину или к автору статейки «Свистка», то есть ко мне, или вообще к «Современнику»? Кого это вы намерены были называть Скалозубом, рекомендуящим жечь книги; кого это вы намерены были выставять желающим действовать относительно народа в грозных формах станового пристава? Позвольте вас спросить: кого это вы благоволите называть «операторами вроде тех, которые избавляли крещеную Русь от Аввакумов, Лазарей и других пустосвятов», то есть, которые казнили и жгли староверов; кого вы, г. Буслаев, благоволите называть этими «операторами, рекомендующими практические ампутации»? О, добрейший г. Буслаев, вы не сообразили, что ваши слова по смыслу вашей речи относятся к нам, сотрудникам «Современника» вообще, или в частности ко мне, автору рассердившей вас статейки. Ведь винить нас в наклонности к сожиганию книг и людей вовсе не умно, — вы сами это знаете; как же вы это наговорили таких неумных вещей?

Видите ли, г. Буслаев, вы очень расположены взводить недобросовестность, злонамеренность, намерение клеветать и всевозможные дурные черты характера на людей, затронувших ваше самолюбие. А во мне вот совершенно нет этой склонности: я почти никогда не нахожу нужды приписывать какому-нибудь дурному намерению человека поступок, который считаю за нехороший. Я прежде всего смотрю на ум человека; и если он поступил дурно, то почти всегда нахожу я достаточное объяснение тому просто в недостатке сил соображения у этого человека. После этого обыкновенно говорю себе: «ах, как жаль, что такой добрый, благонамеренный, честный человек не имеет ума, соответствующего достоинствам его характера». Вы простите мою откровенность: эту мысль я применяю и к вам. Если нам с вами даст бог прожить мафусаиловы лета и каждый год вы по нескольку раз будете делать такие же неловкости, какую сделали

сочинением вашего письма к г. Пыпину, я ни разу не предположу в вас ни намерения несправедливо нападать, ни намерения вредить дурными намеками; не предположу никакой дурной мысли: ваш характер вечно будет представляться мне столь же благороден, столь же безукоризненно чист, как теперь. Я всегда видел и теперь вижу в вас только один недостаток — и, к счастью, такой недостаток, который нимало не портит репутацию человека, потому что не имеет никакого отношения ни к его характеру, ни к его доброй воле.

Вы трудитесь над своим предметом очень усердно; припишу ли я вашей злонамеренности то прискорбное обстоятельство, что наука не может пользоваться вашими трудами? Вы не догадались, что полемические выходки против невежества вашего покорнейшего слуги и его литературных друзей — не более, как полемические выходки, иногда остроумные, иногда неостроумные, но все-таки только полемические выходки; вы приняли их за чистую монету, — могу ли я приписать вашу недогадливость какой-либо злонамеренности? Добродушно поверив, что мы, так называемые свистуны, — действительно круглые невежды, вы вообразили, что не могло быть кем-нибудь из нас написано рассердившее вас замечание, и приписали его г. Пыпину; приписав его г. Пыпину, вы не сообразили, что не мешало бы вам справиться о достоверности вашей догадки, и всердцах излили свою желчь на г. Пыпина, оставив без всякого уязвления меня, истинного виновника ваших огорчений. Как предположу я тут какую-нибудь злонамеренность, когда все это очевиднейшим образом произошло лишь от недостатка сообразительности?

Добрый г. Буслаев! Вы до сих пор не догадались даже — согласитесь, что не догадались, ведь вы человек очень благородный и солгать не захотите, — вы не догадались до сих пор, что я имею указать вам еще одну черту вашей несообразительности. Какую? Попробуйте отгадать, не заглядывая в следующие строки. Нарочно поставлю точку и сделаю объяснение уже в следующем отрывке, чтобы удобнее вам было приостановиться здесь на широком пробеле между строками и подумать несколько минут: не удастся ли вам отгадать?

## V

Держу пари, что вы не догадались. А догадался каждый, у кого побольше сообразительности, чем у вас. Я хотел сказать вам вот что. Слушайте.

Из специалистов по части древней русской словесности и славянской филологии помещает статьи в «Современнике» один г. Пыпин. Других сотрудников по вашей специальности нет у нас никого. В прошедший раз я просил г. Пыпина написать

статью о вас. Он был так любезен, что согласился. И знаете ли, почему согласился? Вы опять не догадываетесь? Я вам расскажу все, как было дело, — у меня секретов нет никаких ни в чем.

Г-н Пыпин не раз и не два оспаривал в разговорах со мной (ведь я хоть и свистун, а люблю говорить об ученых материях) мое мнение о вашем значении в науке. Когда вышли ваши сочинения, мы, свистуны, стали говорить, что неловко не поместить в «Современнике» статью об них: вы имеете авторитет, о книге вашей было много толков; не может журнал умолчать о ней. Мы, свистуны, обратились к г. Пыпину с просьбой, чтобы он написал статью о вас. Он долго отказывался; почему отказывался, я не вправе сказать вам, потому что это — не мой секрет, а секрет г. Пыпина. А впрочем, если вам непременно хочется узнать, то я, может быть, успею получить у г. Пыпина разрешение, чтобы сообщить вам и публике эту тайну. Ну-с, так вот г. Пыпин долго отказывался писать статью о вас. Тогда я сказал, что если не напишет он, придется писать кому-нибудь из нас, свистунов. Г. Пыпин, как специалист, уважает в вас специалиста. Ему не хотелось, чтобы, например, я высказывал свое мнение о вашем значении в науке. Что делать, — понятная слабость специалиста к специалисту. «Если так, — сказал г. Пыпин, — я согласен избавить г. Буслаева от статьи, писанной вами». Эх, батюшка мой, г. Буслаев! отблагодарили же вы доброго человека за желание избавить вас от беды! Ну, догадываетесь ли хоть теперь, о чем я хочу сказать вам? Вот о чем: слишком плохую услугу оказали вы себе письмом к г. Пыпину. Когда представится «Современнику» надобность в другой раз говорить о вас, мы, свистуны, по-прежнему будем уговаривать г. Пыпина, чтоб статью о вас написал он. Но согласится ли он? А бог его знает! По крайней мере, прочитав письмо ваше, он сказал, что разбирать ваших сочинений нельзя человеку, не любящему полемически схваток. Ну, что же теперь, если он останется при этом решении? Ведь поневоле придется писать статью о вас мне или другому какому-нибудь свистуну. Как вы полагаете, похожа будет эта статья на статью г. Пыпина? Много мы найдем в вас ученых достоинств? И как вы полагаете, во многих из ваших почитателей изменится мнение о них от статьи, писанной свистуном? Вероятно, вы еще не можете этого сообразить. И желаю вам как можно дольше оставаться в неизвестности на этот счет.

Затем, свидетельствуя совершеннейшее почтение к вашему трудолюбию и глубочайшее уважение к вашему благородству, имею честь остаться всегда готовый к какому вам угодно учейнейшему спору. В ожидании этого лестного моему невежеству спора собираю розданные разным знакомым книги свои по предмету, некогда, к сожалению, и меня занимавшему.

Р. С. Спешу предупредить вас об одном обстоятельстве,

чтобы избавить вас от новых огорчений. Быть может, вам вздумалось бы сказать, что я неосновательно и бездоказательно произвожу желчь вашу от статейки «Свистка» и утверждаю, что эту статейку вы приписывали г. Пыпину. Пожалуйста, не говорите этого. Ведь вы знаете, что это правда, и знаете, что это всем известно в литературном кругу. Отрицая вещь, всем известную, вы только снова обнаружили бы опрометчивую несообразительность.

Р. Р. С. Быть может, также вам вздумалось бы отрицать мой рассказ о происхождении статьи г. Пыпина. Но предупреждаю вас, что рассказ мой совершенно верен истине, и сомнение в нем не повело бы ни к чему, кроме подробнейшего подтверждения моих слов.

## VI

Письмо г. Буслаева обратило на себя мое внимание потому, что воззрение г. Буслаева на старинную нашу литературу и излагаемые г. Буслаевым понятия о народности служат одним из оснований, на которых зиждется критика «Отечественных записок». Отделом критики заведуют в «Отечественных записках» гг. Дудышкин и Краевский. О мирозерцании г. Краевского я не буду говорить, потому что считаю это напрасным<sup>35</sup>. Я буду говорить только о г. Дудышкине, или, точнее выражаясь, для г. Дудышкина.

Мне очень понятны были многие совершившиеся на страницах «Отечественных записок» странности в прежние времена, лет за пять и за шесть, когда на обертке журнала выставлялось имя одного только г. Краевского. Начав после четырех или пяти лет, в которые не читал я русских журналов, пересматривать «Отечественные записки» за нынешний год, я уже не умею объяснить себе этих странностей, потому что на обертке журнала читаю: «издаваемый А. Краевским и С. Дудышкиным». К этому я не прибавлю ни слова, потому что г. Дудышкин не такой человек, как г. Буслаев. Он понимает вещи.

Говорить о достоинстве критического отдела в «Отечественных записках» я не хочу. Обращу внимание г. Дудышкина только на одно обстоятельство, да и то лишь потому, что приходится это кстати, по связи с предыдущими отрывками. Каким образом мог найти себе г. Дудышкин авторитет для себя в г. Буслаеве? Этого я не в силах понять, а я считаю себя человеком очень понятливым. Придумываю, придумываю и не могу придумать никакого удовлетворительного объяснения этому обстоятельству. Чаще всего приходит мне на мысль такое соображение. Г. Дудышкин не имел несчастья убить несколько лет на изучение славянской филологии и тому подобной суши. Как человек умный и не зараженный чрезмерным тщеславием, он и

не считает себя знатоком в этом деле (вовсе неважном для журналиста). Не воображает ли он, что о достоинстве мнений г. Буслая он точно так же не может судить собственным умом, как не можем мы оба с ним судить о достоинстве трудов Эри или Леверрье<sup>36</sup>, и что он должен принимать мнения г. Буслая на веру, как мы оба с ним принимаем на веру решения астрономов об орбите Нептуна? Очень может быть, что г. Дудышкин так думает. Но если так, смею его уверить, что напрасна такая его недоверчивость к себе в этом случае. Можно, и не будучи специалистом по филологии, судить о связности и правдоподобности воззрений какого-нибудь филолога на народную жизнь и литературу. Я попробую предложить г. Дудышкину несколько вопросов и уверен, что он не найдет их решение затруднительным для себя.

Если кто-нибудь станет говорить, что наши лубочные картины выше произведений Рафаэля по своей идее или что византийское влияние внесло живой элемент в нашу народную поэзию, — затруднился ли бы г. Дудышкин признать такого человека несколько свихнувшимся?

Если кто-нибудь половину статьи о какой-нибудь русской сказке набьет рассуждениями Микель-Анжело<sup>37</sup>, — затруднился ли бы г. Дудышкин признать статью эту за нескладицу?

Если кто-нибудь станет говорить, что о потребностях и чувствах русского простолюдина, живущего теперь, мы не в силах судить, пока не изучим старинные рукописи и не вызубрим немецкую грамматику Гримма с прибавлением исландской «Эдды» и санскритского словаря, и если этот человек будет доказывать, что по недостаточной разработке этих предметов у нас мы не можем заботиться о простолюдине с пользой для него, — затруднился ли бы г. Дудышкин похотеть над таким вздором?

Больше я ничего не скажу. Г. Дудышкин сам видит, что направление критического отдела «Отечественных записок» очень сильно должно измениться, если эти вопросы не покажутся ему затруднительными.

Сказать ли вам по секрету? Не мешает иной раз умному человеку взглянуть на дело подобно нам, свистунам, то есть без самоуничтожения перед вздором. Поверьте, от этого и образ мыслей у человека, от природы неглупого, становится яснее, да и статьи его журнала выигрывают.

Мы только так, кстати, упомянули об одном из тех оснований, покоясь на которых, критический отдел «Отечественных записок» возмущается нашею неосновательностью. А ведь если перебрать другие основания этого недовольства, оказался бы точно такой же вывод и об этих других основаниях. Но г. Дудышкин сам в силах будет рассудить, — лиха беда начат, ну, вот мы и сделали для него начало, — а там у него самого дело переборки пойдет как по маслу.

## VII

Горячность, горячность портит ваше дело, г. Громека, — говорим мы, переходя к отделу, называемому «Современною хроникой России». Кроме этого недостатка, все остальное у вас превосходно. Попробуйте быть немножко хладнокровнее, хоть на полчаса, хоть на четверть часа, — больше я от вас не потребую, потому что и четверть часа уже слишком тяжело для вас провести без вспышек, — благороднейших, прекраснейших вспышек. Я не хочу мечтать, чтобы захотели вы отказаться от них, да и преступно было бы, по вашему мнению, хотя несколько сдерживать в себе взрывы возвышенных чувств. Но так, для разнообразия, на четверть часа, только на четверть часа, из любезности ко мне постарайтесь быть хладнокровны; умоляю вас, если только возможно это для вас, попробуйте, в личное одолжение мне, даже улыбнуться вместе со мной. Сохранить хладнокровие, почувствовать расположение к веселой улыбке будет для вас нетрудно (если вы хоть сколько-нибудь способны к этому по натуре), потому что в моей беседе с вами не будет ни одного сколько-нибудь резкого или обидного слова для вас.

Начнемте воспоминанием о забавном случае давно прошедших лет, когда вы, прочитав одну мою статейку, сулили в наказание мне подарить вещицы, которые становились тогда не нужны вам. Зачем не сдержали вы обещания? Вот прошло с той поры больше двух лет; как вы теперь понимаете эту статейку? Все попржежнему? Или, может быть, согласитесь теперь со мной, что это была проделка довольно дерзкая и не совсем бесчестная? Так что же ваш обещанный подарочек мне, все думаете еще прислать? Или уж находите, что мне он так же не к лицу, как и вам? Я смеюсь при этом воспоминании — не улыбаетесь ли и вы? <sup>38</sup>

Улыбнулись? прекрасно; теперь не приходит ли вам охота улыбнуться вместе со мной и над следующей вашею страничкой, — да вы не примите моей улыбки в дурную сторону, в том смысле, что страничка эта нехорошо написана, — нет, нет, прекрасно: с горячим, искренним одушевлением, с чистейшею любовью к добру, с возвышеннейшим негодованием на злобу и порок, — нет, я только так улыбаюсь, как улыбался человек, знавший секрет ларчика, открывавшегося просто, над стараниями добрых людей, ломавших голову, чтобы раскрыть ларчик. Что это такое пишется в «Современнике»? спрашиваете вы: — какие убеждения у этих свистунов? Не отыскивается у них никаких убеждений, продолжаете вы и начинаете немножко сердиться. Какой-то журнал порицает нас, свистунов, за неуважение к почтенным личностям <sup>39</sup>. Это еще ничего, замечаете вы:

Водятся за этими негодными свистунами преступления гораздо худшие.

«Пусть бы гг. свистуны оскорбляли лица, сколько их душе угодно — мы за «этим не стоим: на Руси это не в диковинку, иногда даже выходит очень смешно; но когда они бросают грязью в лучшие человеческие верования» (позвольте мне вставлять свои заметки в вашу речь: например, какие же это «лучшие верования»? То, что Кавур облагодетельствовал Италию, или что стоит только рот разинуть, то и влетит в него жареная утка? Или что плуты не обманывают людей?), «когда они осмеивают всякое благородное увлечение» (например, увлечение розгами или вещами, из которых выходит нечто гораздо худшее розог — смотри вышеуказанные страницы «Современной хроники», «Отечественных записок»), «когда они прямо объявляют, что весь мир наполнен одними негодьями и мошенниками» (позвольте вас спросить: как мы, по вашему мнению, думаем о Гарибальди и людях, стоявших за ним, или о Брайте, о чартистах \* и т. д., и т. д.? Вы полагаете, что мы их считаем негодьями и мошенниками? Ах, как мы <были бы. — Ред.> рады, если бы кое-какие другие люди разделяли ваше понятие о нас, — не все люди, а только некоторые, одинаково занимательные для нас и для вас), «и когда, наконец, знаешь, что это делается из одного только «фокусничанья» (вы так думаете? поздравляю вас. Напрасно вы не пишете статей о Рабле и Диккенсе, — вы, должно быть, отлично понимаете их) и привлеченья «почтеннейшей публики, тогда мы понимаем, как далеко может простираться негодование и презрение к подобному художеству». (А мы давным-давно понимали это, читая благородно-негодующие статьи девицы Зражевской<sup>40</sup> о Жорже Занде; статьи эти, дышащие благородством невинности, служили украшением «Маяка»). «И есть люди, которые простодушно верят». (Какие чудачки!), «что в этом фиглярстве скрывается глубокая, недосказанная мудрость! А все потому, что она не досказывается.. (А ваша как? досказывается?) «да, вероятно, никогда и не доскажется до конца: мудрость, как известно, вещь бездонная, и ее никогда не исчерпать, по крайней мере, до тех пор, пока останутся не переведенными на русский язык многие французские книжки...» (А вы, должно быть полагаете, что австрийские стихотворения Якова Хама действительно переведены Конрадом Лилиеншвагером если не с австрийского, то с французского. Хорошо, хорошо.) «А между тем, эта мудрость систематически убивает веру в людей» (т. е. в каких же? в Кавура и Шмерлинга? Или в Державина и Карамзина? Или в Пинетти и г. Кокорева? Вы за которых больше стоите?), «в их честность и великодушие, в их любовь и дружбу, в возможность бескорыстного с их стороны» (т. е. со

\* Чартистах. — Ред.



стороны Кавура и Шмерлинга или со стороны Дост-Мохаммеда афганского и Саид-Паши египетского, или со стороны Миреса и Перейры?) «самопожертвования... Куда же ведет эта мудрость» (не туда, куда ведет легковерие), «чего хочет» (того, чтобы люди не давались в обман), «каких героев przygotowляет для будущего?» (Таких, которые не были бы похожи ни на Дон-Кихота, ни на Сент-Арно или Эспинасса<sup>41</sup>.) «Можно поручиться, что из ее школы не выйдет ни одного Пирогова». (Нет, не выйдет, потому что г. Пирогов старался связать вещи несовместные — розги с гуманностью: по-нашему, что-нибудь одно: или секи, или не секи, —

А смешивать два эти ремесла  
Есть тьма охотников, мы не из их числа<sup>42</sup>.

Г. Пирогов не виноват в том, что был непоследователен: он в такое время воспитался. Но стыдно было бы нам, если бы мы ставили свой идеал на том же уровне, на каком стоял он во времена воспитания г. Пирогова<sup>43</sup>.) «Можно быть уверено, что она никого не подвинет ни на какое общественное дело: для этого требуется вера в человека, пламенная вера» (что за Африка такая!) «и увлечение» (родной мой, увлекались и мы, подобно вам, да увидели, что нас дурачили), «а не холодная, бездушная насмешка» (ну, это действительно не по вашей части, и растолковать этого вам не берусь я, пока вы не охладеете хотя немножко), «все разъединяющая» (например публику с г. Кокоревым и другими ее благодетелями) «оскорбляющая» (все тех же г. Кокорева с Кавуром) «и способная только подвинуть на бросанье из-за угла камешков и грязи». (А вы прямо в лицо бросаете грязь тому, кого считаете достойным забрасыванья грязью? Или, по-вашему, ни в кого не следует бросать грязью, даже и в Гайнау не следует?)<sup>44</sup>.

«Уверяют, что свистуны служат великому делу отрицания, без которого, как известно, нет движения вперед. Это неправда! Не так действуют герои отрицания» (куда нам лезть в герои!), «которым вздумали бы подражать свистуны. Те ненавидят многое, потому что многое любят, во многое верят, на многое надеются; они сегодня радуются, завтра рыдают; у них насмешка бичует и жжет, потому что идет из сердца, полного страстной любви к человеку и беспредельного негодования к неправде». (А знаете ли что? — Без похвальбы сказать, очень многие нас любят за то, что считают именно такими, вот ни дать ни взять, как вы изволите описывать героев-то отрицания.) «У наших свистунов нет сердца» (что за притча! у курицы сердце есть, а у нас будто нет; есть, родной мой, есть, да еще и очень сердитое, только не на вас), «нет веры» (да что же верить-то, когда знаешь? Если, например, знать, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно, то это убеждение покрепче будет, как  $2 \times 2 = 4$ );

«они считают постыдным хоть раз чем-нибудь увлечься в жизни» (увлекались, золотой мой, да еще как, — не хуже вас самих; а теперь до такой поры дожили, что рассудок да опыт житейский верх берут); «они никого и ничего не любят» (что за изверги рода человеческого! — да хоть самих-то себя любят ли? А если самих себя любят, значит и свое все любят. Ну, а русская-то земля чья же как не их земля? Подумайте-ка хорошенько: может выйдет, как умом-то разумом прикинете, что и ее они любят. А ну, ну: подумайте, несравненный наш, подумайте); «они смеются над любовью» (ну, да ведь любовь любви рознь; над иною не то что посмеяться, а даже похохотать следует, — например если бы какой-нибудь близорукий в нестерпимое рыло втюрился, — да погодите, еще и сам он над собою посмеется, когда подскочит поцеловаться, да и увидит вместо красавицы обезьянью харю; а вас, пожалуй, и бранить станет, если вы его к этой любви возбуждали, в этом обольщении поддерживали); «они считают обязанностью порицать без разбора все, что попадется под руку» (то есть «Заметки» ли «праздношатающегося» в «Отечественных записках»; статьи ли г. Я. Грота в «Русском вестнике», — что за ехидные такие люди!); «они занимаются искусством для искусства» (а вот что я вам скажу: когда откуда заимствуетесь мыслью, то надобно указывать источник; вы бы упомянули, что это «Русский вестник» говорит; а спросите-ка теперь «Русский вестник», рад ли он, что толковал об этом, — вероятно, сами видите, что не должен быть рад [«а не для людей, которых считают по большей части мошенниками и идиотами, нуждающимися только в том, чтобы их хорошо кормили и не секли розгами» (да хоть бы этого добиться; остальное-то люди уж сами для себя приобрели бы)].

Вот мы хоть на этом пока и остановимся. А то уж совсем вас утомили воздержанием в хладнокровии. Но что же, согласитесь, что оно хотя и тяжело вам с непривычки рассуждать хладнокровно, а все-таки полезно. Вот горячились вы, горячились и никак не могли добиться, чего мы хотим, что любим; теперь же, только четверть часа побеседовали мы с вами хладнокровно, и открылось вам все: любим мы родину свою, а хотим — добра ей, — только и всего.

Да знаете ли что? Если бы хотя немножечко похладнокровнее были вы, и без беседы с нами узнали бы это от других, от кого хотите, к примеру сказать, хотя бы даже от самих «Отечественных записок». Не верите? Не замечали вы в своем журнале таких указаний? Так лишь оттого не замечали, что очень уж в большом азарте были, на страницу-то смотрите, а что на ней написано-то, не разберете, потому что в глазах от горячности туман стоит. А то увидали бы, как не увидеть — отпечатано четко, хорошо таково. Хотите покажу? Возьмите, например, третью книжку «Отечественных записок» нынешнего го-

да, разверните «Критику» на стр. 9; на этой странице читайте строку 29-ую и две следующие. Ну-с, видите, что на них написано?

Глумления «Современника» не щадят ничего, кроме двух-трех предметов, в самом деле священных: свободы женщины и простолоудина.

Позвольте объяснить? Или и сами понимаете?

Все-то мы с вами, г. Громека, беседовали так хладнокровно; а вам, вероятно, уж давно хочется погорячиться? Извольте, извольте, для вас готов на все. Закончимте беседу несколькими горячими словами. Эх, горе наше с вами: стихов писать не умеем, в стихах бы оно лучше вышло, ну да оно и прозой горячо выйдет, с душою, с любовью, с верою.

Вот мое мнение. Принять или не принять его — ваша воля:

Очень мало на свете людей, в которых честность соединена с пронизательностью. Об этих людях мы с вами довольно поговорили. Далее, есть на свете не очень большое количество плутов и неисчислимое множество простяков. Плуты обманывают простяков; льстят им и обирают их; запугивают их и помыкают ими. Правда или нет? Разумеется, плуты по своей малочисленности ничего не могли бы сделать, если бы действовали только своими силами. Но из самих простяков очень многие так и лезут из кожи вон отстаивать плутов. Из какой прибыли? Ровно ни из какой, бескорыстно, бескорыстно так и лезут вон из кожи. К этому разряду простяков я причисляю вас. Не обижайтесь. Простяками в вашем роде бывают люди всякого ума: и глупые, и умные, и гениальные даже, — в пример вам приведу Лафайета, Ламартина, Вильгельма фон Гумбольдта, самого Штейна. Если человек глуп, это беда неизлечимая. Если же он не глуп, а только простяк, то излечивается от своего недостатка он тотчас же, как только заметит его в себе. Прямо никто из людей не вступает в жизнь пронизательным: это — качество, развивающееся рефлексиею. А рефлексия требует хладнокровия.

Соглашайтесь или не соглашайтесь со мною, это — повторяю — как вам угодно.

Надеюсь, что мы расстанемся друзьями.

## VIII

А вот как раз поспела для украшения моей коллекции 7-я книжка «Отечественных записок» с крупным полемическим алмазом, который постараюсь я добросовестно отшлифовать в превосходнейший бриллиант. Алмаз находится в изобильном редкостями руднике критического отдела. Оно как раз мне с руки: ведь в прежних отрывках я мало занимался этим отделом, так что

могло бы это огорчить заведывающего им г. Дудышкина, могло бы показаться г. Дудышкину злостной невнимательностью к нему. Хорошо, что могу я теперь загладить эту свою вину, отвратить от себя этот упрек.

Эх, г. Дудышкин! где можно бы неспециалисту иметь смелость собственного суждения, там вы не отваживаетесь вникнуть в дело своим умом; а в чем для разбора дела нужно быть специалистом, вы полагаетесь на собственное суждение. Вот, к примеру сказать, хотя бы опровержение, написанное г. Юркевичем против моих статей об антропологическом принципе в философии, — ну, может ли тут неспециалист рассудить, с толком или без толку пишет г. Юркевич? Ведь тут все дело состоит в методологических, психологических, метафизических тонкостях; тут такого рода дело, что глубокомысленно призадумался бы сам Куно Фишер<sup>45</sup>, этот великий мудрец, перевод из которого помещен в июльской же книжке «Отечественных записок». Чтобы понимать эти хитрые подразделения и подразличения, нужно быть специалистом. Вот, например, г. Катков понимает эти вещи. Ему понятно, что говорит в своей статье г. Юркевич; он увидел, что воззрение г. Юркевича близко к направлению, которое считает справедливым сам он; и г. Катков не сделал ошибки, поместив в своем журнале извлечение из г. Юркевича с большими похвалами ему. Я не разделяю этого направления, потому резко отзываюсь о всяких его последователях; но что они довольны друг другом, этому так и быть должно. Ну, а вы-то с «Отечественными записками» с какой стати восхитились статьей г. Юркевича? Вы разве полагаете о себе, что держитесь того же направления? Представьте себе, к вашей беде, заглянул я на оборотную страницу верхнего полулиста обертки того самого 7-го № «Отечественных записок», в котором вы оттиснули свое восхищение г. Юркевичем. Что же я увидел на этой странице? Крупным шрифтом напечатано следующее объявление:

#### «ОТ РЕДАКЦИИ»

«Так как многие из читателей изъявили желание прочесть все сочинения Бокля «History of civilisation in England» \* в русском переводе, то редакция «Отечественных записок», напечатав уже шесть глав этого сочинения, намеревается, если не встретит особенных препятствий, перевести его в целости и помещать в журнале в том самом порядке, в каком будет выходить английский подлинник».

Знаете ли, какая комическая вещь выходит из этого? Вот какая. За исключением очень немногих страниц в отделе об энци-

\* «История цивилизации в Англии». — Ред.

клопедистах, которых и вы не одобрите, когда прочтаете их, и я не одобряю, — весь первый том Бокля прямо противоположен тому направлению, которым вздумали вы восхищаться в г. Юркевиче. Вот история-то! Уж и подлинно можно назвать ее «историей цивилизации в «Отечественных записках».

Но вы не огорчайтесь шуточкою, какая вышла от вашего объявления о переводе Бокля: вы превосходно делаете, что переводите его; от всей души желаю, чтобы не встретили вы препятствий в этом очень полезном деле. Русская публика будет вам благодарна за него.

Хотите, я расскажу вам, как произошел в вас психологический процесс, по которому, печатая Бокля, восхитились вы г. Юркевичем? Если вы увидите, что я не ошибусь в объяснении такого изумительного происшествия, то вот вам и будет доказательство, что я — великий мастер производить психологические наблюдения и законы психологии знаю как свои пять пальцев. А согласитесь, что я вызываюсь на пробу очень трудную, потому что разбираемый мною психический акт необычайно мудрен и, повидимому, нарушает все законы мышления: хвалить то, истреблению чего содействуешь печатанием превосходного сочинения, — ведь это психический феномен, которого не распутал бы сам Кант. А вот я распутаю, подведу его под общие психологические законы.

*Закон первый.* Незнающий влечется подражать знающему. «Русский вестник» похвалил г. Юркевича, вы повлеклись хвалить его.

*Закон второй.* Сладко слышать брань на того, кого сам бранишь. Г. Юркевич вооружается на меня; вы также вооружаетесь; потому вам сладко слушать г. Юркевича.

Углубитесь в самого себя, наблюдайте умственным оком ваш психический процесс, вы увидите, что мое объяснение безукоризненно верно.

Но, согласитесь, тяжело вам было это наблюдение вашего психического процесса. Согласитесь, вас беспрестанно отвлекало от этого трудного самонаблюдения мелькание разных посторонних делу представлений, вроде следующих: «нет, я не по примеру «Русского вестника» нашел, что г. Юркевич прав, я сам догадался об этом; я беспристрастен: я понимал сущность спора; направление г. Юркевича — мое направление; я не за то восхитился им, что он пишет против Чернышевского», и т. д., и т. д. — согласитесь, эти иллюзии так и влезали насильно в ваше самосознание, и очень трудно было вам отбиваться от них. Но любовь к истине восторжествовала в вас над этими обольщениями; но напряженное внимание к действительному ходу вашего психического процесса отогнало эти мечты, и вы, наконец, постигли два вышеприведенные психические закона и бестрепетно подвели под них странный факт похвалы г. Юркевичу со стороны журнала, пере-

водящего превосходную книгу Бокля. Честь вам и хвала, Ваш подвиг был труден, но вы совершили его.

Видите ли теперь, как тяжел анализ самосознания, каких особенных приемов он требует? Видите ли, что человеку, специально не занимавшемуся этим предметом, нельзя судить о достоинствах или недостатках статей, к нему относящихся? Зато и плоды этой науки очень вкусны для самолюбия, — не правда ли?

А если правда, то я надеюсь, что вы не откажетесь в благодарность мне за этот урок пересмотреть вместе со мной содержание статейки против меня, которая помещена в июльской книжке «Отечественных записок», в отделе, находящемся под вашим заведыванием (г. Краевский, вероятно, не будет претендовать на то, что я обращаюсь исключительно к вам) <sup>46</sup>.

## IX

После некоторых прелюдий, относящихся к языку, статейка, восхищающаяся г. Юркевичем, упоминает о разборе философии г. Лаврова, который был сделан г. Антоновичем в IV книжке «Современника» нынешнего года. Упоминание об этом разборе основывается на том, что он по направлению сходен с моими статьями об антропологическом принципе. Положим, сходен, но следовало ли вам заговаривать об этой статье, которая отозвалась на вашем журнале уморительными последствиями, показывающими, что вы как прочли ее, так тотчас же и изменили свое мнение о достоинстве трудов г. Лаврова. Уж лучше молчали бы вы. А если непременно хочется вам говорить, то признались бы, что статья г. Антоновича раскрыла вам глаза <sup>47</sup>.

Но вам хочется побранить ее. Любопытно послушать, за что вы ее браните. Вот единственный недостаток, который вы в ней нашли: «никакого умственного напряжения не нужно, чтобы понять все, что говорит г. Антонович. Ясность (этой статьи) поразила всех». Сообразите сами, достоинством или недостатком должна считаться ясность? Разумеется, каждый неглупый человек почтет, что вы хвалите статью г. Антоновича, выставя в ней такое качество. А вы думаете, уронили ее этим. Как случилась с вами эта вторая «история вашей цивилизации», я опять расскажу вам.

Вы наслушались, что философия — предмет головоломный. Вы пробовали читать философские статьи вроде произведений г. Лаврова и ровно ничего не понимали. А г. Лавров был, по вашему мнению, хороший философ. Вот и состроился у вас в уме силлогизм такого рода: «философии я не понимаю; следовательно, то, что я могу понимать, — не философия». Вы ведь так прямо и говорите: г. Антонович пишет ясно, стало быть, нет философии

у него в статье. Но ведь это прилично было вам думать, когда вы о философии судили по статьям г. Лаврова. Ну-с, а ведь теперь вы уже находите, что философские статьи г. Лаврова были плохи (признавайтесь, что находите: ведь у нас есть улика тому); так не следовало ли бы вам рассудить таким манером: «о каком бы предмете ни заговорил человек, образ мыслей которого туманен, речь его будет туманная, головоломная. А сама по себе философия, быть может, и не бог знает какая непонятная наука». Вы не ошиблись бы в этом.

Но о статье г. Антоновича говорится только так, кстати, что вот, дескать, она совершенно такая же, как и статья Чернышевского об антропологическом принципе, — философии не может быть в этих статьях, потому что они ясны. Затем говорится уж обо мне одним.

«Статья г. Чернышевского вызвала ответ в г. Юркевича, в «Трудах Духовной Академии киевской», такой ответ, который поставил г. Юркевича сразу на первое место между всеми, кто когда-либо писал у нас о философии» (значит выше Белинского, у которого очень много относящегося к философии, выше автора «Писем юб изучении природы»? \* Хорошо. Но ведь не выше же г. Гогоцкого и г. Ореста Новицкого? Зачем обижать этих великих мыслителей той же самой школы, как и г. Юркевич?) «Только помним мы статьи И. В. Киреевского» (отлично! так добрый и почтенный И. В. Киреевский был, по-вашему, действительно философ, а не просто наивный мечтатель? Но ведь уж если так, вы должны признать своим главнейшим авторитетом покойного Хомякова<sup>48</sup>. Так вы кстати уж переименовали бы свой журнал из «Отечественных записок» в «Русскую беседу» или «Возобновленный Москвитянин»), «отличавшиеся тою простотою и ясностью философского изложения, с которою мы встретились у г. Юркевича. Знание систем философских, полное усвоение предмета и самостоятельное к нему отношение — вот заслуги г. Юркевича» (дай бог ему всяких совершенств!). «По направлению своему — он идеалист, и точки опоры в его учении так глубоко им обследованы и тонко проведены, что на русском языке мы ничего подобного не читали» (помилуйте, г. Гогоцкий точно так же глубоко и тонко все это исследовал, «и в этом совершенно согласны с «Русским вестником» (так же, как я во всем совершенно согласен с «Горным журналом», — предмета не знаю, статей не понимаю, но, полагаю, что они писаны людьми знающими, потому и принимаю все их слова на веру), «который распространил эту статью. Перепечатывать статьи мы не станем; мы приведем из нее два только места: одно «о превращении раздражения нерва в ощущение» и другое об изменении» «количественного» в «качественное». На этих двух положениях все остальное

\* То есть А. И. Герцена. — Ред.

держится» («Отеч. Зап. Русск. литер., стр. 41, 42). Но прежде того выписывается окончание статьи г. Юркевича, очень сильно поражающее меня, как невежду. Ну, хорошо, — если я невежда, так вы рассудили ли, что вам-то не следовало бы говорить об этом? В «Русском вестнике», например, я не писал; он не компрометирует себя толками о моем невежестве. А ведь в «Отечественных записках» я довольно много писал в начале своей литературной деятельности, — так у вас, значит, невежды могут бывать сотрудниками, да еще такими, которыми редакция дорожит?

Напрасно вы повторяете чужие слова о моем невежестве, г. Дудышкин; другие журналы могут это говорить, а вашему журналу неловко. Приведа отзыв г. Юркевича о моем невежестве, «Отечественные записки» делают выписку из него же о том, что «пространственное движение нерва не есть еще непространственное ощущение», и о том, что «переход от количественного к качественному ясен только для одного «Современника», для всех же других составляет необъяснимую задачу». Видите г. Дудышкин, о каких технических тонкостях рассуждает г. Юркевич, а вы беретесь судить о его статье, решаете, что он прав, когда не умеете даже различить, в каком духе он пишет, и не расходится ли он, например, с вашим собственным Боклем ровно настолько же, насколько со мною. «Отечественные записки» продолжают:

«Читатель видит по этим выпискам, которые могут дать понятие о прекрасной статье г. Юркевича, заключающей в себе целый трактат о философии, видит, что имеет дело с человеком, хорошо знающим предмет» (видит или нет читатель, это как случится; а сами-то вы видите ли, или только с чужих слов говорите?). «Г. Юркевич не прибегает к площадным шуткам, чтоб задобрить читателя, не боится подходить к предмету и сказать: это еще не доказано никем, этого мы не знаем, хотя имел бы гораздо больше поводов, нежели г. Чернышевский, говорить с уверенностью. По крайней мере, ясно одно, что такое возражение заслуживает подробного ответа». (Уверю вас, что не заслуживает, с моей точки зрения. Если бы какой-нибудь ученый стал доказывать, что ошибаетесь вы, отвергая алхимию или кабалистику, вы почли ли бы его сочинение достойным подробного опровержения? Как вы смотрите на ученых, держащихся алхимического или кабалистического учения, так я смотрю на школу, к которой принадлежит г. Юркевич. Хороша или дурна теория, которой держусь я, об этом может думать каждый, как ему угодно; но что человек, держащийся такой теории, должен считать смешными и пустыми возражения, делаемые теоретиками школы, к которой принадлежит г. Юркевич, это — факт, известный каждому специалисту; вы удивляетесь этому лишь оттого, что взаимные отношения разных философских направлений плохо известны вам.) «Что же делает г. Чернышевский? А то же, что он делает



всегда, когда у него потребуют серьезного ответа: отделяется неповадительно развязностью» (то есть когда ж это «всегда»? Я в течение нескольких лет не вел никакой полемики и ровно ничего не отвечал ни на какие вызовы и возражения, следовательно, не могло быть ни развязности, ни неразвязности в моих ответах по той простой причине, что ответов вовсе не существовало; а прежде, когда вел полемику, случилось мне писать огромнейшие и обстоятельнейшие возражения на заметки против меня), «которая, наконец, переходит в дерзость по отношению к г. Юркевичу» (что делать? Если вы уважаете, а я не уважаю известное направление, то мои отношения к нему будут вам казаться неповадительно дерзкими. Точно таковы же кажутся людям, уважающим направление г. Аскоченского<sup>49</sup>, ваши отношения к нему). «Мы уверены, что последователи г. Чернышевского найдут такой ответ крайне остроумным. Вот что говорит г. Чернышевский» («Отечественные записки», «Русская литература», стр. 55). Тут выписана первая половина моего отзыва о статье г. Юркевича; затем следует:

«Как вам нравится этот ответ! Другими словами г. Чернышевский говорит: вы несчастный человек, г. Юркевич, потому что учились в семинарии и учились по плохим руководствам» (что ж, разве это неправду я говорю?). «А вот я потом достал славные книжки: в них написано все то, что я говорю. Поверьте мне, и если вы еще не устарели, то я могу пособить вашему горю, пришлю вам мои книжки. Из них вы и увидите, что я прав!» (Что ж, мне кажется, что тут я выразил доброжелательность; ну, скажите, а вы разве иначе отвечали бы человеку, который, например, делал бы против ваших историко-литературных статей возражения по учебнику г. Зеленецкого?)<sup>50</sup>.

«Нам эти слова напомнили блаженной памяти барона Брамбеуса, который всегда отвечал в этом роде, когда Белинский заставлял его отвечать категорически. Только барон Брамбеус отвечал часто гораздо остроумнее г. Чернышевского, например, он отвечал так иногда: «а когда-нибудь на досуге напишу вам ответ на латинском языке». Но теперь и барон Брамбеус не писал бы таких ответов, потому что времена переменялись и можно» (да? как вы счастливы!) «отвечать на то, что спрашивают». В те злополучные времена, когда наша философия крылась под эстетическими рецензиями на Гоголя, Жорж Занда, Сю, противники Белинского, к которым принадлежал Сенковский, чтоб вести спор околицей, переименовали мадам Дюдеван в г-жу «Спередка» и разыгрывали на эту тему свои замысловатые рецензии<sup>51</sup>. И тогда подобные рецензии приводили в омерзение: что же сказать, когда ту же проделку употребляет г. Чернышевский с г. Юркевичем в споре первой важности, в вопросе, поставленном ясно? Если барон Брамбеус и в то злополучное время, в которое жил, упал в общем мнении за подобные проделки, и

публика отвернулась от него, то чего же хочет г. Чернышевский— в наше?»

Вы изволите сравнивать меня с бароном Брамбеусом? Ну, что ж, если разобрать это сравнение, то ведь окажется, что вы употребили его, не сообразив, что из него выходит.

Дело идет об обширности моих знаний. Я похож на барона Брамбеуса, то есть на покойного Сенковского. Кто же сомневается, что Сенковский владел знаниями изумительно обширными? Что ж из этого выходит о моих знаниях, если я похож на него? Вот что значит неловкость в полемике — хотели сказать, что я невежда, а из ваших слов оказалось, что вы сами считаете меня человеком очень обширных сведений. Куда же вам полемизировать?

Но я похожу, по вашим словам, на Сенковского тем, что люблю отшучиваться от возражений. Хорошо. Почему же Сенковский любил отшучиваться? Потому что был человек очень сильного ума, находивший, что при своем уме имеет право презирать противников. Это вы хотели сказать обо мне? Должно быть, не это, а из ваших слов это выходит. Благодарю вас: вы внушаете читателю мысль, что я — человек очень сильного ума, чувствующий свое превосходство над своими противниками. А ведь действительно чувствую (и вы сами наверное чувствуете) мое превосходство над вами. Что ж делать, не могу не чувствовать: вы слышком плохо полемизируете.

Но Сенковский упал в общем мнении, — вы предсказываете ту же судьбу и мне. Только напрасно вы наговорили лишнего для вашей цели, наговорили таких вещей, которыми прямо уничтожается во мне это опасение. Вы упомянули, что Сенковский вооружался против Белинского, Гоголя, Жоржа Занда, то есть против того, что я защищаю. Стало быть, если Сенковский упал за свое направление, то меня ждет участь прямо противоположная. Я буду возвышаться в общем мнении. Это вы хотели сказать? Нет, не хотели? Так зачем выходит это из ваших слов? Плохо, плохо вы полемизируете. Посмотрим, что-то у вас дальше.

«Полноте, г. Чернышевский! в наше время нельзя всего знать — и естественных наук, и философии и политической экономии, и истории всеобщей и русской, и литературы. Кто все это знает, тот ровно ничего не знает. Эту, по крайней мере, аксиому затвердила наша литература, и ее мы можем привести против вас. А вы ведь все знаете! Это подозрительно что-то» («Отечественные записки», июль, Русская литература, стр. 56, 57).

Да кто вас уверял, что я все знаю? Всего никто не знает: ни Монтэнь<sup>52</sup>, ни Вольтер, ни Гейне, ни даже сам Бэль не знали. Неужели я вам должен объяснять разницу между начитанностью и специализмом, между специальным ученым, который двигает вперед одну науку или одну отрасль науки, и между журналистом, которому довольно быть образованным человеком, который

только популяризирует выводы, сделанные учеными, только осмеивает грубые предрассудки и отсталость? Неужели вы не сообразили, в какое смешное положение ставите себя вы, журналист, притворяясь будто не знаете, что такое журналист? Не постигаю, что за радость выставлять вам себя человеком, ничего не понимающим, — даже своей профессии. Неужели, по-вашему, журналист должен писать только о том, в чем он специалист? Да ведь если так, то журнал обратится в *Comptes rendus*\* парижского Института.

Но вы интересуетесь лично мною: вам угодно знать, ученый ли я человек? Извольте. Давно уж не занимаюсь я специально ничем, кроме политической экономии. Прежде занимался я кое-какими другими предметами довольно усердно, так что хотя перезабыл много мелочей из них, но судить о том, что пишут по этим предметам другие, очень могу. Что тут удивительного? Но прежде всего я по профессии — журналист, подобно вам, то есть человек, старающийся знать успехи умственной жизни по всем вопросам, интересующим вообще всех образованных людей. Вы так понимаете профессию журналиста или нет?

Или вам все не то хочется узнать, а то, как обширны мои знания? На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добились получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него.

Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое что знаете и вообще вы человек образованный. Только напрасно вы так плохо полемизируете. Ну что, прямо я отвечал или все отшучивался от ответа?

Далее следует выписка из физиологии Льюиса<sup>53</sup> о различии физиологических процессов от химических. Защитник г-на Юркевича в «Отечественных записках», воображая, что г. Юркевич смотрит на это дело одинаково с Льюисом, говорит:

«Сравните этот отрывок из Льюиса с тем, что говорит г. Юркевич, и вы увидите, что нашему киевскому профессору известны последние исследования не хуже г. Чернышевского. Следовательно, он знает не одни семинарские тетрадки и учебники, как заверяет г. Чернышевский. Мы это говорим только для тех, которые думают, что все сказанное сразу, очертя голову» (т. е. кем же это? мною, что ли?) «неприменно и справедливо; а у нас, к сожалению, таких людей очень много» (ну, ловко ли вы полемизируете, признавая тут, что у нас очень много людей, одобряющих мои статьи? Эх, несообразительность-то какая! А еще туда же полемизировать хотите!). «Пожалуй, подумали

\* Отчеты, «записки». — Ред.

бы, что г. Юркевич — схоластик, а г. Чернышевский — прогрессист!»

Вам показалось, будто между словами г. Юркевича и Льюиса есть сходство; в словах-то есть сходство, да в смысле-то слов нет его. Вы понимаете ли, к чему клонит дело г. Юркевич? К поддержке идей прямо противоположных — чему бы, как это выразить? — ну, хоть так скажу: прямо противоположных идеям Бокля, которого вы переводите. А Льюис вовсе не к тому ведет дело. Он только доказывает, что каждая отдельная наука рассматривает частные видоизменения общих законов природы в особенных условиях. Прочтите у Льюиса всю главу, из которой отрывок взяли вы, и вы убедитесь, что мысли г. Юркевича от его мыслей так же далеки, как от моих. С Льюисом-то я совершенно соглашаюсь, а спросите-ко у г. Юркевича мнение о школе, к которой принадлежит Льюис, он вам таких любезностей о ней наговорит, что вы с своим Льюисом жизни не рады будете, если дорожите мнением г. Юркевича. Но с вами надобно говорить яснее. Ведь для вас все еще остается в тумане предмет, за который спорил против меня г. Юркевич. Извольте. Объясню это дело по возможности.

Вы видите ли, по крайней мере, то, что я с вами делаю? Я не упускаю почти ни одного из ваших слов, беру вашу речь целиком. Но зачем я это делаю? затем ли, чтобы соглашаться с вами? Нет, я делаю вставки к вашим словам, переставляю их, переворачиваю, и выходит смысл, противоположный тому, какой они имели у вас. Например, вы говорите, что я невежда; я перебираю ваши слова, и выходит из них, что я человек чрезвычайной учености; вы говорите, что я затрудняюсь отвечать на возражения, я опять перебираю ваши слова, и выходит из них, что вы сами признаете меня несравненно сильнее людей, делающих мне возражения. Понимаете ли теперь, как и для чего я пользуюсь вашими словами? А между тем ведь я воспользовался ими, не правда ли?

Вот точно так же пользуется трудами естествоиспытателей школа, к которой принадлежит г. Юркевич. Она пересматривает труды добросовестных специалистов, чтобы выворачивать факты в пользу теории, прямо противоположной взгляду этих естествоиспытателей.

Вы, по всей вероятности, находите, что я искажаю смысл ваших слов? А я полагаю, что вы сами не сообразили, что такое говорили, и что я подмечаю в ваших словах истинный смысл их, которого вы не заметили.

Вот точно так же школа г. Юркевича думает, что естествоиспытатели сами не понимают того, что излагают, и что только она влагает в заимствуемые у них факты истинный смысл, прямо противоположный заблуждающемуся взгляду естествоиспытателей.

А естествоиспытатели находят, что эта школа искажает смысл фактов, которые заимствует у них.

Вам все еще, может быть, не совсем понятно дело? Поясню я примером, — у меня страсть к примерам. (Вот вы над этим бы подсмеялись, что иногда пристрастие к ним делает мои статьи растянутыми, — уличить меня в этом недостатке вы были бы в силах, а то хватаетесь за такие стороны дела, с которыми не сладите.) Ну-с, так приведу вам пример.

Вы курите сигары? Вы очень хорошо знаете, что сырые сигары плохи, а сухие гораздо лучше. Прекрасно; каким же образом получаются сухие сигары? И это вы знаете. Наделав сигар, фабрикант, дорожащий репутацией своей фабрики, оставляет их очень долго, быть может, года два или три, лежать в обыкновенной комнатной температуре. В это время они и высыхают. Хорошо; но ведь до такой же степени сухости можно было бы довести сигары в какие-нибудь два часа времени, поместив их в горячую температуру, например, хоть градусов в 60. Почему же это не годится? А вот почему, как вы сами знаете. Когда сигара сохнет быстро, то ингредиенты, от которых зависит вкус ее, входят в химические соединения, при которых вкус сигары портится; а если она сохнет очень медленно, ингредиенты эти соединяются между собою другим способом, при котором сигара получает хороший вкус. Вы знаете, что это так? Хорошо; что же из этого следует? Следует вот что. Процесс испарения воды, находящейся в сырой сигаре, приводит к известному результату, когда совершается медленно; а когда совершается быстро, результат бывает вовсе не таков.

Вот в этом самом роде рассуждает и Льюис о разнице между химическим процессом, совершающимся в реторте, и между пищеварением, совершающимся в обстановке, очень различной от химической реторты. Он говорит вот в каком духе: сварите говядину на очень сильном огне, — вы получите бульон известного сорта; сварите ее на слабом огне, медленно, — вы получите бульон совершенно иного сорта; если же вы вместо простой воды будете варить говядину в каком-нибудь кислотном растворе (например, вроде кваса или сока кислой капусты), у вас выйдет бульон опять иного сорта. Словом сказать, результат процесса изменяется от каждой перемены в условиях процесса. Вот Льюис и говорит, что каждый из этих случаев надобно наблюдать особенно и не смешивать с другими. Что ж, по моему мнению, он говорит правду.

А школа, к которой принадлежит г. Юркевич, что выводит из подобных фактов? — что, дескать, естественные науки объясняют нам только одну сторону жизни, а другую, высшую, мы познаем, и т. д., и т. д., и что-де натуралисты — пропащий народ. Вы соглашаетесь с этим направлением?

Ясно ли для вас хоть теперь?

А может быть, ещё не ясно? Если так, потолкуем с вами ещё немного. Как вы полагаете, не действуют ли в знаменитом Юме какие-то особенные, удивительные силы? или он просто ловкий фокусник? Сколько я знаю вас, вы, вероятно, полагаете, что он просто фокусник. А по методу, которой держится школа, имеющая своим оратором г. Юркевича, надобно отвечать так: «Позвольте, остановитесь, не будьте опрометчивы. Может ли какая-нибудь химия или физиология объяснить тот факт, что г. Юм видит из Петербурга человека, сидящего в Пенсильвании, в Америке, и сообщает вам точные сведения о его здоровье, видит, что он болен флюсом и ставит себе пиявки к десне. Позвольте вас спросить, милостивый государь, как вы объясните этот факт вашу химию или физиологию, вашу катоптрикою или диоптрикою? Сознайтесь, м. г., что тут действуют в г. Юме какие-то особенные силы!» Сколько я вас знаю, вы очень хладнокровно будете отвечать такому вашему изобличителю: «М. г., этого факта, на который вы ссылаетесь, решительно нет, а есть другой факт, которого не угодно вам замечать. Ничего находящегося в Америке г. Юм из Петербурга не видел; он только дурачил вас».

Вот точь-в-точь такого рода спор между теориею естествоиспытателей, которая кажется мне справедлива, и которую я стараюсь популяризовать по своей профессии журналиста, и между школою, к которой принадлежит г. Юркевич. Вы на чьей стороне были бы в подобном споре? Сколько я вас знаю, были бы вы на моей стороне, только не удалось вам разобрать, в чем спор.

Но мой пример не кончен. Я остановился на том, что вы говорите своему возражателю, приверженцу Юма: «Я отрицаю действие особенных сил в Юме, потому что не теми, как вы, глазами смотрю на факт, сбивающий вас с толку». Но ведь этот противник не оставит вас без ответа. Он скажет вам, что «люди, наблюдавшие Юма, остались убеждены, что это не фокусы», он прибавит: «вы познакомьтесь с этими людьми, они вам расскажут много такого, чего вы не знаете; в ваших словах, отвергающих мое мнение о Юме, я вижу только наглость вашего незнания». Что вы станете делать с таким человеком? Смотря по расположению духа: если вы не расположены смеяться, то уйдете от него, а если расположены смеяться, станете насмехаться над ним. В том и другом случае вы будете правы: с таким человеком или вовсе не стоит говорить, или нельзя говорить без насмешки. Теперь я прошу вас прочесть следующий отрывок из вашей брани на меня за г. Юркевича. Выписав вторую половину моего отзыва о статье г. Юркевича, где я говорил, что читать статью г. Юркевича мне незачем, потому что по самой рекомендации «Русского вестника» я вижу совершенное сходство ее с вещами, которые некогда составляли меня учить наизусть, — сделав эту выписку, статейка «Отечественных записок» продолжает:

«Понимаете ли вы, что это такое? Видите ли, куда мы гнем?» (уж не знаю, видно ли вам хоть теперь, куда я гну; а куда гнет г. Юркевич, вы, наверное, не видели, когда писали эти строки). «Сказано, что все это вздор, который мы не станем читать. Вот что подразумеваем мы под словами г. Чернышевского.

Да помилуйте, г. Юркевич вам доказывает: 1) что вы не знаете той философии, о которой говорите; 2) что вы смешали метод естествознания, применяемый к психическим явлениям, с самым изъяснением душевных явлений; 3) что вы не поняли важности самонаблюдения как особенного источника психологических познаний; 4) вы перемешали метафизическое учение о единстве [бытия и физическое учение о единстве] материи; 5) вы допустили возможность превращения количественных разностей в качественные; 6) наконец вы допустили, что всякое воззрение есть уже факт науки, и таким образом утратили разницу жизни человеческой от животной. Вы уничтожили нравственную личность человека и допускаете только эгоистические побуждения животного.

Кажется, ясно; дело идет уже не о ком-либо другом, а о вас, не о философии и физиологии вообще, а о вашем незнании этих наук. К чему же тут громоотвод о семинарской философии? Зачем смешивать вещи совершенно разные и говорить, что вы все это знали уже в семинарии, и даже теперь помните наизусть?»

На все это я хотел бы сказать одно: да как же не говорить мне того, что, по моему мнению, совершенно справедливо? Но в удовольствие вам разъясню дело, — впрочем, опять-таки ссылаю на те же самые тетрадки, знакомство с которыми не дозволило вам понять в чем дело.

Если бы потрудились вы пересмотреть эти тетрадки, вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д., и т. д., во всех философах, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся; они относятся собственно к теории, которую популяризовать я считаю полезным делом. Если вы не верите, загляните в принадлежащий тому же, как г. Юркевич, направлению «Философский словарь», издаваемый г. С. Г., — вы увидите, что там про каждого не-идеалиста говорится то же самое: и психологии-то он не знает, и естественные-то науки ему неизвестны и внутренний-то опыт он отвергает, и перед фактами-то он падает во прах, и метафизику-то он с естественными науками смешивает, и человека-то он унижает, и т. д., и т. д. Скажите же, какая мне надобность серьезно смотреть на автора ли известной статьи, на людей ли, его хвалящих, когда я вижу, что лично против меня они повторяют вещи, испокон века повторяемые про каждого мыслителя школы, которой я держусь? Я должен судить так: или они не знают, или они притворяются незна-

ющими, что это — упреки не против меня, а против целой школы; следовательно, они люди или плохо знакомые с историей философии, или только действуют по тактике, фальшивость которой сами знают. В том или другом случае такие противники недостойны серьезного спора.

Скажите, например, если бы кто стал лично вас упрекать в незнании за то, что вы считаете народность важным для литературы элементом, относился ли бы этот упрек лично к вам? Нет, он относился бы к целой школе. Почли ли бы вы за нужное доказывать, что, дескать, «если я называю народность важным элементом литературы, это еще не признак моего незнания», — конечно, вы почли бы ниже своего достоинства доказывать это.

Но вам, по вашему незнакомству с предметом спора, мои слова, быть может, еще не совсем ясны. Постараюсь сделать для вас еще несколько объяснений.

Изволите ли вы знать, что называли невеждой — не то что меня, а, например, Гегеля? Известно ли вам, за что его называли невеждой? За то, что он имел известный образ мыслей, не нравившийся некоторым ученым. Как вы полагаете невежда был Гегель или нет? А кто, вы думаете, называл его невеждою? Люди той самой школы, к которой принадлежит г. Юркевич.

Известно ли вам, что называли невеждою Канта? За что называли, справедливо ли называли, какие люди называли, — это все то же, что в прежнем примере.

Известно ли вам, что называли невеждою Декарта? За что, справедливо ли и какие люди называли, — это все то же, как в прежнем примере.

Возьмите какого угодно другого мыслителя, подвигавшего науку вперед, каждый подвергался тому же самому обвинению, за то же самое и от тех же самых людей.

Умеете ли вы сделать вывод из этих фактов? Если бы умели, мне не пришлось бы объясняться с вами; но по всему видно, что не умеете; стало быть, я должен подсказать его вам. Вот он:

Люди рутини упрекают в невежестве всякого нововводителя за то, что он — нововводитель.

Прошу вас запомнить это. Память об этом избавит вас от многих промахов.

Но вы знаете этот вывод только как факт. А вы расположены, как видно, любопытствовать о философских материях. Для вашего удовольствия я выведу неизбежность этого факта из психологических законов.

Положим, что известный человек совершенно удовлетворяется известным умственным или житейским положением. Если приходит другой человек и говорит: «оно неудовлетворительно», у человека, удовлетворяющегося этим положением, непременно рождается мысль: «он не удовлетворяется им потому, что незнаком с ним». Рождается она вот как. Что совершенно удовлетвори-



тельно, то хорошо. Кому хорошее не кажется хорошо, тот не видит, что оно хорошо. Кто говорит о хорошем, не видя, что оно хорошо, тот не знает хорошего. Таким-то путем люди, удовлетворяющиеся чем-нибудь неудовлетворительным, приходят к мысли, что неудовлетворяющийся этим неудовлетворительным не знает его. Это неизменно бывает во всех сферах жизни и мысли. Если, например, вы скажете пьянице, что пьянство нехорошо, он непременно возразит вам: «а попробуй-ка выпить, увидишь, что хорошо». Если вы предлагаете купцу, торгующему по нашим обычаям, продавать товары по неизменной цене, *prix fixe*, без торгу, без запрашивания, он непременно возразит вам: «это вы говорите потому, что нашего торгового дела не знаете». Помните ли, когда стали рекомендовать стетоскоп для распознавания грудных и других внутренних болезней, опытные практиканты возражали: «вы толкуете о стетоскопе потому, что лечить не умеете; нам стетоскоп не нужен»? Так и во всем; так между прочим и в философии. Поняли?

Или все еще непонятно для вас? Но если все еще непонятно для вас, то мне уже наскучило объяснять. Оставайтесь при своем непонимании. Значит, уж не судьба вам понимать что-нибудь в философии. Но чтобы не огорчать вас, я предположу, что вы, наконец, поняли, и скажу вам заключение из всего прочитанного вами, как будто вы поняли то, что прочли. Вот это заключение.

Теория, которую считаю я справедливой, составляет самое последнее звено в ряду философских систем. Если вы этого не знаете, а верить мне на слово не хотите, рекомендую вам взять какую вы хотите историю новейшей философии, — в каждой такой книге вы найдете подтверждение моим словам. По одному историку теория эта справедлива, по другому — несправедлива; но все они единодушно скажут вам, что эта теория действительно последняя, вышедшая из гегелевской точно так же, как гегелевская вышла из шеллинговой. Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке и нахожу последнее слово ее самым полным и справедливым. Это как вам угодно. Быть может, по-вашему, старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе.

Припомните теперь психологический закон, что всякого нововводителя рутинисты называют невеждою. Вы поймете, что основателя теории, которой держусь<sup>54</sup> я, называют невеждою приверженцы предшествовавших теорий.

Но уже, надеюсь, и без всяких моих объяснений сами вы поймете, что когда известными людьми взводится известное порицание на учителя, то распространяется оно ими и на учеников, верных духу учителя; следовательно, должно распространяться и на меня в числе других.

Но вам все-таки, может быть, еще не ясно дело, — вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором

я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он — не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штрнер, не Бруно Бауер, не Мошотт, не Фохт, — кто же он такой? Вы начинаете догадываться: «должно быть, Шопенгауер!» восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. Он самый и есть, угадали <sup>55</sup>.

Но скажите сами: виноват ли я в том, что говорю с вами так свысока, — виноват ли я в этом, когда вы ставите себя относительно меня в такое положение, что я должен разъяснять вам подобные вещи? Если, например, вы скажете, что император Петр Великий победил Карла XII под Полтавой и если какой-нибудь господин закричит вам: «невежда, вы не знаете русской истории!» — вы ли будете виноваты в том, что станете отвечать этому господину таким тоном, каким вот я отвечаю вам?

Полюбуйтесь теперь на нравоучение, которое извлеку я для вас из окончания статейки «Отечественных записок». Она вопрошает, обращаясь ко мне:

«Вы говорите, что не читали этой статьи?» (то есть статьи г. Юркевича). «Правда ли это? Нет ли и здесь той скрытой, преднамеренной причины, чтоб оставить за собой мнение в публике о вашем глубокомыслии, так сильно пострадавшем? Мы, мол, этаких статей читать не станем... А ведь выходит, что вы прочли статью и знаете, что в ней кроется. Ваш ответ вы сами начинаете так: Вот капитальнейшая статья полемиического отдела IV книжки «Русского вестника». Почему ж это вы узнали, что это капитальнейшее возражение на ваши умствования?» («Отечественные записки», июль. Русская литература, стр. 60, 61).

Вам кажется невероятно, что я не полюбобытствовал прочесть статью г. Юркевича. Очень верю, что для вас кажется это невероятно. Каждый человек измеряет других собою. Что ниже его или равно ему в других, то он понимает, возможности того он верит; что выше его способностей или развития, того он не понимает, тому он не верит. Доказать вам это? Извольте. В ком не пробудилось желание учиться грамоте, тот не понимает, как это другие люди находят удовольствие в чтении книг. А мы с вами, успевшие стать выше этого человека, понимаем его мысли. Но мы с вами не занимались высшей математикой, — признайтесь, что вам не совсем понятно, как это люди могут с наслаждением сидеть по целым дням за формулами интегралов: это нам с вами кажется странно. Вот вам относительно степени развития способностей. Теперь относительно природной силы способностей. Человек с характером, способным к самопожертвованию, понимает самопожертвование; человек с сухим сердцем не понимает, как это люди могут жертвовать собой для других людей или для идей, — ему это представляется помешательством или лицемерием. Кто неловок от природы, тот решительно не понимает, как это люди могут держать себя изящно; и если он станет заботиться об этом, он

станет держать себя еще нелепее прежнего; это значит, что он действительно не понимает, в чем же состоит изящество. Вот точно то же и наше с вами дело.

Считайте следующие мои слова самохвальством или чем вам угодно, но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы г-на Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мысли обо мне, — точно так же, как, например, вам вовсе нелюбопытно знать, какие достоинства или недостатки находит в ваших критических статьях какой-нибудь почитатель романов г. Рафаила Зотова.

Теперь вообразите, что этот почитатель романов г. Рафаила Зотова напечатал разбор ваших статей; если у вас работы довольно много и для часов досуга есть другие планы развлечений или любимых занятий, то удивительно ли будет, что вы не прочтете эту статейку? Вот точно таково же мое отношение к статье г. Юркевича.

Вам кажется это невероятно? Что ж делать, вы только заставляете меня предполагать, что многое, мелкое для меня, для вас крупно.

Где же вам вести полемику, когда вы подводите себя под такие ответы?

Да, ведь у вас остается очень сильный аргумент: если я не читал статью г. Юркевича, то почему же я знаю, что она «капитальная» полемическая статья в 4 № «Русского вестника»? Да ведь «Русский вестник» объявлял об этом сам в статье «Старые боги и новые боги», что вот, дескать, мы поместим извлечение из превосходной статьи г. Юркевича, которой придаем необыкновенную важность. В прочтенном мною предисловии к этому извлечению он опять повторял то же самое, — вот я в насмешку и назвал эту статью самою капитальною. А вы и того не поняли, что слово «капитальный» тут употреблено в насмешку? Что за наивность такая в вас: как же не знать, что если в полемике употребляются похвальные или торжественные выражения, то их надобно понимать за насмешку? Чтобы это вам было понятней, приведу пример: «восхитительная статья «Отечественных записок» о г. Юркевиче прочитана была мною с благоговением к великой философской учености ее автора», — ну вот попробуйте разобрать теперь, в каком это смысле я говорю, в прямом или в ироническом? Или и этого не разберете?

Удивляете вы меня своею пронизательностью. Как вы не сообразили хоть следующего факта: беру я целых 9 страниц из статьи г. Юркевича, избобличающей мое невежество, и перепечатаваю эти страницы в своей статье без всякого возражения, — ну как вы полагаете, сделал ли бы я это, если б не был очень твердо убежден, что перепечатаваемые мною страницы слишком плохи? Если бы вы умели соображать, этот один факт уже показал бы

вам, как слабы должны быть возражения, которые может придумать против меня философ такого направления, как г. Юркевич.

Я обращался с своею речью к вам, г. Дудышкин, потому только, что вы заведете отделом, в котором помещена разобранная мною статья; но быть может, она и не вами написана, — если не вами, то я очень рад за вас.

Я люблю делать сюрпризы. Вы, г. Дудышкин, конечно, ждете, что я посоветую вам не помещать таких полемических статей, как эта разобранная мною. Как это можно, разве я враг себе? Сделайте одолжение, побольше, побольше таких статей печатайте, обяжете меня этим до крайности.

Чем-то поразвлекся мне на следующий раз? Думаю совокупить «Русский вестник» с «Отечественными записками»; да разве не прибавить ли тоже нескольких красот из «Русской речи» и еще откуда-нибудь, как случится<sup>56</sup>.